

СОЛО

Проза
Поэзия
Эссе

2

SOLO

2

МОСКВА
«БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ»
1991

СОЛО № 2

«Бук Чембэр Интернэшнл»

Содержание

Игорь Клех

Иностранец. 5

Инцидент с классиком 12

Всеволод Некрасов

Стихи 15

Владимир Зуев

Из книги «Алхимия любви» . . . 19

Д. А. Пригов

Стихи 57

Проза 59

Андрей Бычков

ДСП 65

Дело не в этом 84

Редколлегия: Андрей Битов,
Александр Михайлов, Евгений Попов

Художник: С. Морозов

ИНОСТРАНЕЦ

Желтуха занесла его на 6-й этаж Второй инфекционной больницы в местности под названием «Соколиная гора». Закружила метель, залепила глаза, заложила уши снегом. Картавые вороны оповестили приход первого больничного ясного утра.

Оконные стекла за ночь закристаллизовались от мороза. Рассеянный свет лился сквозь широкий белый экран — проекцию географической карты: Антарктиды ли? Гренландии? или изрезанной фьордами Скандинавии?

Он был Иностранец. На всякий случай он решил не задавать вопросов. Впрочем, не задавать вопросов другим стало последние годы его жизненным кредо в этой стране. У него взяли анализ мочи, крови, наделали дырок в венах для капельниц. Он смиренно сносил все это — его наконец-то перестало тошнить, и он только глубже уходил в больничное белье, в койку, чтоб наблюдать оттуда жизнь этого странного народа.

...Алеша Паршиков в своем поэтическом бюро, обходясь пока без диктофона, сочинял небывалую старинную пневмо-гидро-мета-пушку для новой поэмы «Полтава»...

...в замшелой яме под горой, где окаменелостью лежал серозеленый, как речная мидия, центральноевропейский город... — впрочем, он уже давно, вот уж сорок лет, как перестал быть центральноевропейским, потому что география в этой стране аннулируется в первую очередь...

...фригиды со средним и высшим образованием жадно искали личного счастья по городам и весям, курортам и новостройкам страны...

...Никола — на снегом занесенном хуторе в горах — наварил картофельного самогона и ждал гостей из далекого несуществующего почти города, ждал бинокля, — к Рождеству, к Крещению... Гости всегда появлялись неожиданно, возникали вдруг внизу на последнем подъеме от ельника, две-три фигурки с лыжами, с рюкзаками, похожими на раскладушки, перекуривали

уже в виду хутора и медленно, тяжело заваливались в хату, наполняя ее паром, путаницей запахов, разбросанными вещами, от которых разбегаются глаза, тут же бутылкой водки, растапливали печку,— праздником.

Гостей не было. Батарейки давно сели. Никола опрокидывал один, потом второй стограммовый стаканчик самогона, тоскливо поглядывая в прорубь оконца на снег, на лесистый склон, на сырую серую фотографию пасмурного дня,— откусывал солонины, кем-то уже надгрызенной с угла, запивая все кружкой воды со льдом. Затем скидывал сапоги, оставаясь в двух парах равно рваных носков, забирался с ногами на лежанку, доставал фуяру — латунную трубку, обрезанную наискосок,— затыкая ее одним пальцем на выходе, извлекал из нее звуки, затягивал плохо гнущуюся мелодию: заунывную, предвечную и праздничную, как та жизнь, что была когда-то в этих горах, когда дети с отцом возвращались раз в году с ярмарки, что раскинулась на берегу торопливой горной речки, и отец, заглянувший в шпнок,— туго выбритый гуцул,— нахлестывает коня в ремнях пахучей новой сбриуи, скачут ободья по камням и гальке, и дома мама скребут и мыют полы желтоватым настоем буковой золы, а там отберут опять у детей полотняные штаны и спрячут в скриню и оставят бегать в одних сорочках, пока подрастут...

И видится Николе Бинобль — черный, в пупырышках, огромный неестественно, даже непристойно, 16-кратный, если есть такие на свете, и сжимаются, и тоскуют его беспальные руки, и в крепких, как лопата, как топор, ловких ладонях сжимают худенькую тростиночку, ледышку, глупую железку, разогреваемую его дыханием, водочным духом, теплом, от хриплых звуков переходящую ко все более пронзительным, но все же с хрипотцой, как недающееся воспоминание о том, чего не вспомнить никак и нельзя, что только дразнит, дразнит, тянешься руками — пусто в них, только трубка латунная, мешается...

Сумерки вливаются в оконце, ползут из углов, темнеет, кольшется оптический обман — рак — бинобль мохнатый в полхаты,

— и все это маята только
и напрасное томление духа

...потому что за полторы тысячи километров у Николиного знакомого, друга — Иностранца — отвратительный цвет мочи, и это пока единственное, что он находит в себе общего с непонятными для него людьми, переполняющими отделение.

Иностранец тем временем отсыпался целыми днями, и даже, как на какой-то день начало казаться ему во сне, который раз, начал осторожно нащупывать карту сновидений: в забыты бес-

конечного ленточного сновидения, замкнувшись в оптике сна, когда, даже просыпаясь, не покидаешь его пределов, в уме его и представлении связывались сонные ландшафты, улицы и дома, теснились видения, группки чем-то знакомых, но виду не подающих людей, не навязчивые, но и неустрашимые, снящиеся нам десятилетиями; выстраивалась страна, величиной с уезд, но странный, построенный из обманчивой полупрозрачной субстанции; Пристанище Разбитых Сердец, родина детей, лунатиков и подростков — Гель-Гью, brutальный, как все портовые города;

...путешествие жука по ленте Мебиуса. Можно и так: страна величиной с бинокль.

Разбитое, саднящее его тело нашло, наконец, покой, будучи выброшенным разбушевавшимися стихиями Кризиса Середины Жизни на крошечный островок койки в инфекционной больнице на окраинах евразийской столицы. Он лежал неподвижно, лицом в углублении подушки, со свесившейся рукой и болящими от воды легкими, с ушными раковинами, полными песка, с водорослями в спутанных волосах и юношеской бородачке. Сладко ломило отбитую, желчью разлившуюся поясницу.

О, бывший 15-летний капитан! О, вечный Иностранец!
О, желчный вегетарианец!

Ну чем тебе не нравится эта — именно эта, страна?

В какое опять путешествие ты собрался?

Передохни. Спи пока, спи.

Нет ни Африки, ни Патагонии,

— есть одна Родина.

Она одна — магнит,— пока мы с ней, ни в каких компасах мы не нуждаемся;

она — одна Большая Курская аномалия, отклоняющая и притягивающая наши сердца, намагниченные ее соловьями, домнами, Байконуром, Большим балетом, печатным русским словом.

Спи, мой мальчик,— я тебя не люблю, спи.

И он спал и спал, как давно уже не умел, не мог, penisом не буравя матраца, не мучая подушек и не будучи мучим ими, расслабив все болящие мышцы, урерту, сфинктер, выходя в просторных пижамных штанах и сорочке со штампами (но без пуговиц) только в санузел — перекурить, помочиться,— поперек кабинки тянулась надпись: «Да здравствует гепатит!» и сверх забытого чьего-то кала не было никаких следов работы мысли.

Иностранец удивленно крутил головой, затягиваясь до головокружения, замечая вдруг, что его не смущает больше ни такой род лапидарности; ни потоки из-под двери; ни чуть заплеванное ведро с окурками; ни умывальник со стоячей водой; ни треснутое окно, как желатином затянутое пленкой никотина; какой пустяк по сравнению с первыми спазматическими затяжками, с теплом батареи, белизной кафельных стен, чувством беспредметной благодарности всему и всем. С ним не заговаривали, чувствовали — Иностранец. Он был благодарен и за это.

Он прислонился лбом к стеклу. Был уже вечер. Фонарь внизу плавал в лужице света, освещая дебаркадер, лестницу, кирпичные склады. Больница была огромной, в ней как минимум было одиннадцать корпусов, одиннадцатым был морг. Видения не оставляли в покое его усталый мозг. Он опьянел от сигареты, она начинала жечь пальцы, когда внизу, ему показалось, мелькнула какая-то фигурка в шахматном трико, в коротком ренессансном плаще — она пересекла двор, метнулась в свете фонаря, прижалась к дебаркадеру, слилась с тенью, карнавальная фигурка «дель арте» в снежной Москве-товарной, Сортирочной...

Он опять канул в сон, успев только добраться до койки и коснуться головой подушки. Свет разума и памяти был не в состоянии на этот раз пробить толщу сна; морды глубоководных рыб подплывали несколько раз вплотную к его лицу, но проходила минута, полторы, и — будто растворялась чернильная таблетка — разливалась совсем уже кромешная тьма, в которой они исчезли навсегда.

Проснувшись, он почувствовал, что наконец отоспался за все предшествующие месяцы, а может, и годы. И было ему хорошо. И был день третий, от начала же болезни восьмой...

Эти люди вокруг — в сущности, они не были непонятны, они были непостижимы для него.

В палате эстетически тренированному Иностранцу сразу бросился в глаза брейгелевский «Знаток» — пролетарий с Красной Пресни: щель улыбающегося беззубого рта будто выбрана была двумя верными надрезами по дереву; с костяшками домино в сведенных ладонях он радостно-удивленно вглядывался в небывалую композицию — растущий на столе, как полип, черный крест.

Вся способность соображать пресненского токаря ушла в глядельную неброскую силу, ту трудную силу, от которой фос-

фором начинает светиться в потемках перфорация древней игры — угольных карт.

Зрелище причудливых поворотов и перекрестков — движение гексаграмм судьбы — понемногу начинало волновать воображение и нашего Иностранца. Дни проходили в игре. Смысл этой игры, ее правила были совершенно неведомы ему, несмотря на то, что он провел в этой стране уже немало лет, и даже получал за это деньги, правда, рублями. С самого начала, с пробуждения почти, он начал подозревать, что смысл ее не так прост, как непросты и те люди, что играют в нее. А может, и не играют — может, игра — только видимость, форма?

Другими глазами — но как? — следовало взглянуть ему на партнеров Знатока:

— на косящего от напряжения уследить за игрой и партнерами, агрессивного отрывистого Падалку. Этот Падалка страдал редкой разновидностью астмы: не будь трех-четырёх смазочных слов, он давно задохнулся бы, не в силах выговорить и единой фразы — сперло дыхание, перехватило бы горло, — и он рухнул бы замертво. Слава богу, эти слова были! Каждому нейтральному слову Падалка давал двух-трех провожатых из их числа, предупредительно поддерживавших его со всех сторон. За верную службу слова эти он лелеял и по-своему, наверное, любил, лаская их суффиксами, награждая приставками, творя отглагольные существительные и редкой смелости и новизны глаголы. Несгибаемой силой духа, беспощадными упражнениями, каждый день выходил он победителем в схватке с душившей его болезнью.

А «Казачья сотня», что каждое утро плевал в свои милицейские глазки и, под чубом елозя, начищал их рукавом, чтоб блестели; что растирал пухлые плечи — по-штангистски отдуваясь — одеколоном, понятно зачем; что вдохновенно и звонко рассказывал палате о позе «ласточки» в наручниках и смирительной «восьмерке» с помощью сыромятного ремешка, девушка его сдала экзамен, а он анализ, скоро его выпишут, и он будет «паханом»; целыми днями он напевал две строчки — только две! — :

Притяженье Земли...

Притяженье... полей! — что свидетельствовало о развитой службой эхололии, — и зычно себя поощрял во всяком деле:
— Но-ор-мальный ход!

Поди пойми их! Иностранец думал про себя: «Я вижу и не вижу их...»

Медиум — четвертый — сидел всегда спиной (и потому описание его опускается) и широкими встречными круговыми движениями, как виртуоз-пианист, месил игральные карты. Это был военнослужащий, похотливый глист, замороженный активной жизненной позицией бедолага.

Втягиваясь подспудно в игру, Иностранец все более ощущал, как потрескивают под ударами костяшек домино и размываются контуры его собственного лелеемого «я».

Все менее важным становилось в ходе игры, что представляли из себя игроки по отдельности.

В полноте, с которой они отдавались ей, в тотальности самой игры, за пугающей доступностью он улавливал присутствие еще чего-то разлитого, неуловимого и загадочного, как Славянская Душа, как Истина, умещающаяся на кончике носа, — переведи только взгляд, потрогай ее!

Все, что не было игрой, было подготовкой к ней, разминкой и настроем команды.

В палате было что-то от раздевалки в ответственном международном турнире. Короткий послеобеденный сон — восстановление физических сил — любовная ретардация перед новым погружением в игру. Тогда слетала вся вялость, развеивалась пустота взгляда, легкий трепет пробежал по палате, свежел утомленный воздух — тело мира стремительно омолаживалось.

Было, пожалуй, еще одно, кроме мочи, кроме общей страсти — все они были русские люди, в глазах их читалась готовность выполнить любой приказ своей Родины. Иностранцу было стыдно, что он не любит их. Но другое, более сложное чувство уже пробуждалось в нем, пробивало себе дорогу, теснило диафрагму...

Смысл игры начал постепенно проясняться для него — как всегда бывает, упорство и долготерпение были вознаграждены; не прошли даром многодневные наблюдения из койки за игрой, скрытые записи, сопоставления, угрюмое отсиживание в засаде, диета, изнурительные интуитивные усилия — и вдруг что-то блеснуло, посыпались искры внутри головы, что-то перевернулось, сдвинулось, озарило — и ВСЕ стало вдруг на свои места.

Горе-Иностранец, ну почему ты иностранец? Ну что бы тебе раньше понять! Не повезло же тебе родиться здесь, у нас, где каждый с малолетства знает и любому может объяснить, что смысл этой Игры, высшее достижение в ней — это «Рыба»! А что такое Рыба? — Это же INTI-OS! — Это Иисус Христос, IHS.

Видел ты лица этих «непостижимых» для тебя людей, когда кому-то из них, преуспевшему в молениях, постах, в черных мессах магических «богохульных» заговоров, когда кому-либо из них открывалась вдруг РЫБА?!

Вот истинный венец Игры — момент открытого созерцания истины! В каком экстатическом состоянии пребывают «игроки», ревностно завидуя собрату, опередившему их на стезе духовного подвига!

Уже в названиях Игры заключена подсказка; на самом профаническом, домонологическом уровне она именуется — «забыванием КОЗЛА» — т. е. нечистого еще со времен античности.

Но тебе ли, окованному кармическими цепями, идущему слепо по следу Игры, замороженному симметрией ее и асимметрией, магией дубля «шесть-шесть», мистическим совершенством карты «пусто-пусто», тебе ли с сознанием, распорошенным в феноменах, с иммигрантским твоим высокомерием, тебе ли было понять, что эта древняя и вечно живая всепобеждающая ИГРА, что она имеет глубокий богоискательский, богостроительский смысл, что она не что иное, как наша тайная сокровенная национальная религия — синтетическая религия, вобравшая в себя и переработавшая католицизм, православие, астрологию, спиритизм, «И цзин», некоторые сектантские вероучения, культ Авесты, комбинаторику и кристаллографию, гадание на картах, догадки Гессе, правила дорожного движения и еще десятки и сотни составляющих, — и на новом уровне разрешившая все их кажущиеся противоречия.

Игра эта выведена была из закрытых арабских дворики, из теснин лондонских пабов и эксклюзивных голландских клубов, из скверны Тринити-колледжа в Оксфорде на простор московских скверов, куда давно переместился центр мировой религиозной жизни.

Сама этимология слова: ДО-МИ-НО, понимаешь? DO-MI-NO «Anno Domini», — латынь-то ты знаешь? должен знать!

Ты же видел, — тебе дано было видеть!
— бенедиктинцы, черный плащ с белой изнанкой, — Монте-Кассино? Марко Поло?

«Dixit Dominus Domino meo!..»

Иностранец с горечью записал в тот вечер: «Мы ленивы и нелюбопытны».

Еще через неделю он сделал последнюю свою запись, расписавшись где-то на полях сбоку во всечеловеческой книге самоубийств: в предутреннем мороке взяв в рот электрокипяtilьник, который сам смастерил накануне для нужд палаты из

провода, двух бритвенных лезвий, пары спичек и черной нитки, он крепко сцепил зубы на параллельных пластинках «Shick».

Было без одной минуты шесть. Начиная прокашливаться радиоточка, чтоб грянуть через минуту государственным гимном.

ИНЦИДЕНТ С КЛАССИКОМ

Этот белый лист слепит меня, как нетронутый киноэкран, который в зал отбрасывает изображение на растр голов и плечей, — сам оставаясь снежно-белым. В движущемся отраженном свете зал становится похож на копошенье белых червей, увиденных мальчиком в очке вокзального сортира лет тринадцать назад. Выйдешь на перрон — запах шпал, паровозные свистки, рельсы в обе стороны загибаются к горизонту, сердце колотит в тельце, сотрясая им, как пустым керосиновым бидоном. О, родная Украина!

Некий человек, пишущий стихи, сокрушенный загадкой Гогля, решил съездить на один день в Миргород, чтобы натянуть в себя из вязкого, как взбитая перина, воздуха тех, крепких, как смерть, снов, проникших лет двести назад в кровь гения и исподволь превративших ее состав. Он хотел пройтись по берегам нерукотворной лужи, затмившей славу Маркизовой с ботиком Петра, Мойнаков, озер Эльтон и Баскунчак и самих Байкала и Каспия — хотел потрогать рукой желтые стены городской управы. Ничего плохого он не хотел.

Но, едва приехав, он потерял в вокзальном сортире связку ключей, своих и чужих, — киевских ключей от всего. Сгоряча это представилось ему даже еще хуже, чем потерять паспорт. То был страшный удар под дых в борьбе за существование. Оставаясь гражданином, на несколько месяцев как минимум в силу стечения разных, в том числе причудливых, обстоятельств, он переставал быть самостоятельным человеком, вливаясь едва ли не в класс бомжей и бичей. Столичная жизнь жестока. Пощады в ней не жди.

Ключи лежали поверх плотного, кишящего жизнью слоя, задержавшись наполовину на каком-то обрывке газеты, — на счастливую половину, едва перевешивающую остальную уже погрязшую часть. Нельзя было терять ни минуты. Любая подвижка тонкого поверхностного слоя, малейший тектонический сдвиг могли привести к непоправимому.

Но до уровня экскрементов рукой было не достать, перепад высот был метра два — так что даже открывался странный и непривычный вид, будто из иллюминатора космического корабля, где посланец ноосферы зависает вниз головой над равнинной поверхностью неведомой планеты, и где так явственно читаются признаки долгожданной жизни.

Стихослагатель задумался. Нужно было какое-то простейшее и гениальное приспособление, порожденное смекалкой, так всегда выручавшей наших предков. Лихорадочный перебор вариантов сменился через минуту выражением решительности на его лице. Необходимо было в незнакомом городе достать нитку и магнит. Дело осложнялось тем, что было воскресенье — магазины закрыты — и час сиесты — город после обеда крепко спал.

Не теряя времени, он побежал по улицам.

Недоумевающие, разбуженные, обозленные обыватели никак не могли взять в толк, чего добивается от них новый городской сумасшедший. Никогда, если бы и было, никогда не дадут вам здесь то, чего вы просите, сразу. Но герой торопился. Будучи человеком интеллигентным и сам краем сознания понимая нелепость просьбы и нарастающий абсурд ситуации, но уже потеряв вменяемость, он продолжал носиться по городу, подымая ото сна целые улицы и переулки, проскочив уже раза два, и не заметив ее, центральную площадь, так что начал повторяться, пробегая по раз уже разбуженным улочкам, откуда из-за заборов, с двух сторон, в лицо ему и вслед глядели осуждающие лица жителей мирного, позабывшего о всякой спешке города.

Наконец в одном месте ему повезло. На одном из подворий, куда он заскочил, догуливали последний день свадьбы. Дружки жениха, равно расположенные к добру и злу, в силу выпитого алкоголя, но находясь в состоянии временного рассеяния воли, выкрутили ему из радиолы магнит, под честное слово, и дали катушку ниток, заставив выпить стакан теплого и мутного самогона за здоровье новобрачных. Они сами себе нравились в этот момент. Ничто, все же, так не возвышает человека, как благородство.

Наш герой помчался на вокзал, и, о счастье, ключи были на месте, очко не занято, и, соорудив трясущимися руками снасть, с третьей попытки он наконец подцепил ключи. Дальше полчаса он отмывал под проточной струей руки, магнит, ключи — впал в ступор, будто енот-полоскун, снова и снова принимаясь тереть их по очереди и все не решаясь поднести к НОСУ.

Магнит он вернул, но пить отказался, ясно сознавая, что ответная реакция организма даже не позволит коснуться зубами стакана — как вся свадьба будет облевана, включая дружек,

родителей жениха и невесты, гостей, соседей, пол-округи, большую часть растревоженных им улочек, а может, и весь славный город Миргород.

Благородство свирепеет, когда сталкивается с неблагодарностью. И только чуть опережающая события интеллигентность и смысленность нашего героя в сочетании с чуть отстающей от событий и спотыкающейся сообразительностью притомившейся свадьбы позволила ему подобру-поздорову и целу, но быстро покинуть места зарождающейся агрессии, где так крепко повздорили когда-то из-за ничего два героя одноименного писателя. Не исключено, что писатель сам, будучи ребенком, бросил одному из них палочку дрожжей в отхожее место, чтобы поглядеть, что из этого выйдет. А вышло скучно.

Наш же герой всю дорогу до Киева пролежал бодрствуя на верхней полке, содрогаясь при мысли о сигарете, чтобы не накатило ненароком, не подступило к глазам и горлу то невозможное, вывернутое, бесчеловечное, подлое, что поглумилось сегодня так над его вполне бескорыстной любовью к великой русской литературе.

Только многочасовая ванна с хвойным экстрактом уже в столице и неделя усыпляющей воображение рутины на службе у общепользуемой жизни позволили ему со временем забыть этот инцидент.

Из «Ленинградских стихов»

1

Вот фонарь
Литературный
Свет на дом
Архитектурный
Характерный
Петербургский
Огромный
Дом
Времен
Времен времен
Освещенный
Современным фонарем
фонарь при нем
фонарь при нем
взамен времен
взамен времен

2

Вот канал
Вот фонарь
Тут фонарь
Тут канал
Тут был Блок
Он стоял
И макал
Фонарь
в канал
Фонарь
в канал
Фонарь в канал

Блок макал
Блок макал

Бродский Бродский
помогал помогал

А Некрасов спал
Некрасов спал
Некрасов спал
Некрасов спал
Некрасов спал

* * *

Город ровный
Город водный
Город
Город болотный
Колоссальный
Капитальный
Генеральный
Легендарный
Регулярный
Параллельный
Перпендикулярный

Нет

Не бесперспективный

Невский

а он все такой же
главный
самый главный
известно

Главное что он и сам
Весь как новый

Здравствуй
Знакомый
Здравствуй

Знатный знатный
Медный медный

Строгий
Стройный

Бродский
Бродский
Прямо
Как настоящий
Буржуазно-дворянский
Дворянско-буржуазный
Тихвинский
Мой
Московский
Угол Новослободской
Трамвайный трамвайный
Трамвайный фонарный
Фонарный квартирный
Квартирный типичный
Типичный кирпичный
Кирпичный копченый
Изредка
золоченый
Тускловатый
Оловянный
Вроде
Как бы
Был деревянный
Да до
До военный
До до
До советский
До-осто-
Достоевский
Детский
Детский
Детский-
Ну —
Детский
«Царский»
Детский
Снежный
Желтоватый
Зимний
И зимний и летний

И Летний
И летний и зимний
Папин и мамин
И папин
мамин
Пушкин

* * *

Дзержинский был
Сдержинского не было
Право, прелесть
Эта наша Государственная
Безопасность
Не правда ли
Как говорил Пушкин
Пушкин
Нам бы еще
Безопасную
Государственность

* * *

тайная свобода
скрытое тунеядство
и секретная слава

Из книги «Алхимия любви»

Не смотри на меня, что я смугла, ибо солнце спалило меня сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники,— моего собственного виноградника я не стерегла.

(Песнь Песней, 1, 5)

Сестры мои, одинокие сестры в кельях однокомнатных квартир, в судилищах коммунальных кухонь, в узилищах родительских, полных упреков; дочери неблагосклонной судьбы, отвернувшейся в забывчивости, спешке и гневе,— кто оценит душу и красоту вашу в этом вечном своим безразличием к обитателям городе?

Черна я, как хмурая ночь в последнем отчаянии, смугла коротким летним отпускным загаром, бледна в тщательной утренней пудре и страхе вечного ожидания любви, розова от смущения за свои тайные щедрые надежды, красна, как смерть на миру, без любви, но красива, как далекие журнальные дивы, героини видеоклипов, манекенщицы от Кардена, как бесчисленные ничьи женщины, жаждущие и ждущие любви!

Не смотрите на меня с укоризной, не смотрите с жалостью, не смотрите с презрением, не смотрите, что я смугла, ибо солнце опалило меня — палящее пустынное солнце выдуманной для себя, одиноко бредущей по жизни, отчаянной женской веры, что становится целью. Что укоризна, жалость, презренье? Этого ли не стерплю я, прошедшая высшее унижение женщины: свою никому-не-нужность! Кто остановит меня, взглядом ли, словом, силой; что мне до того? Сыновья матери моей разгневались на меня (напрасно: разве в силах я объяснить людям необъяснимое для себя?), поставили меня стеречь виноградники (вспомни еще тысячи отданных женщинам занятий, даже мирские дела даны им слепым выбором — это ли не участь?). Вот отчего — ответ вам! — собственного виноградника я не стерегла...

Скажи мне — разве не права я в свободе желаний своих, отринув ложные гордость и стыд, оправдывая лучшие из худших твоих ожиданий, скажи мне ты, которого любит душа моя, исстрадавшаяся без пониманья: к чему быть сирой и покинутой наедине с дарами своими; к чему свобода горького одиночества, видимости дел, полных безразличья встреч с чужими; к че-

му мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих, легионов мужчин, не разглядевших меня все эти годы в толщах города?

Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, если не знаешь, что так сильно и страстно влечет тебя, в чем смысл наших упований, что жар и пепел жизни, где начало, продолжение и конец нашего пути, то иди себе по следам овец, покорных окрикам судьбы, потерявших путеводную ночную звезду в дневном тумане придуманного бытия-быта.

Единственной, дивной избранницей, жертвой и алтарем, рабой и владычицей назвал я тебя — но по твоей же воле. Кобылице моей (горячей и норовистой, мирной и ласковой, нетерпеливой и покорной, подобно тебе — в желании и любви) в колеснице, мчащейся по этому покоренному автомашинами городу, краткому времени встреч, я уподобил тебя, возлюбленная моя!

Прекрасны вспыхнувшие надеждой глаза твои; молчаливые и послушные уста, прекрасные ланиты твои, рдеющие в полумраке ожиданья; гордо и обреченно, без слез и сожалений склонена шея твоя в ожерельях, навстречу ли палачу? избавителю? холодному наблюдателю чужих судеб?

Да оставят меня лишние в любви вопросы, смутные заботы и тягостные мысли о грядущем, оставят бегущие прочь секунды, минуты, часы, дни и годы, оставят остервенело стучащие телетайпы, всеобщая Книга Гиннесса, да оставят! — возлюбленный мой у меня, у груди моих пребывает! Осанна — мы нашли друг друга! Кто отнимет его у меня в виноградниках, в кратких ночных объятьях, в долгих утренних расставаньях, в бесконечных, дни и ночи напролет, мыслях?

О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! — слышишь ли меня, слышишь?

Я слышу тебя, дивный голос и молчанье, слышу: о, ты прекрасен, возлюбленный мой!

Этот день неведомой волей дарован нам, наедине друг с другом, вместе, и ложе у нас — зелень (не сетуй: свои и чужие квартиры, дачи, купе, номера гостиниц), кровли домов наших — кедры; потолки — кипарисы (вознеси молитвы железобетону — символу городского уединения и юта)!

О, возлюбленная моя!

О, мой возлюбленный!

Да будет убежищем нашим — ночь.

Телепередачи закончились, и профессионально нестареющая дикторша доверительно сообщила унылую программу на завтра. Н. резко, до хруста зевнул, присполз на диване и умело выключил телевизор ногами: способ сохранения тепла, покоя и легкой дремы.

Н. подтянул ватное одеяло к подбородку и стал туманно глядеть на качание голых ветвей озябших деревьев от уличного фонаря по лунной комнате. С порывами бездомного ветра тени жалобно дрожали от холода и обреченно маялись по стенам. Из угла на них молча, презрительно взирало зеленое облезлое лицо, возникшее там год назад, пятном на потолке, когда сверху бедственно протекла батарея. Н. становилось привычно, покойно, дремотно: тихо следило за ветвями это покорное судьбе лицо, тихо завывал в ближних подворотнях ослабший городской ветер, тихо шумела вода за стеной — жена соседа, Валя, стирала в ванной. Н. мирно засыпал, изредка дергая непокорной ногой в тягучей плывущей лени, на миг встревоженно просыпаясь и вновь опускаясь в темную вязкую мглу.

Что-то неожиданно грубо толкнуло и безжалостно разбудило его. Н. приподнял от теплой подушки возмущенную голову и медленно, жалобно моргая, сообразил: это был сильный грохот на кухне. Печально вздыхая, спустил зябнувшие ноги на пол и, морщась от липнущего холодного линолеума, босиком вышел в коридор.

По кухне, словно бы застигнутое в разгаре шабаша, разметалось мокрое белье; в углу, затравленно озираясь, возле опрокинутой табуретки лежала и с ужасом охала Валя. Н. озадаченно склонил голову набок, оглядел ее оголившиеся плотные бедра и полную грудь в намокшей майке, и что-то горячее мазнуло его по животу.

— Помоги же... — громко простонала несчастная Валя, жалобно вытягивая пухлую мокрую руку. — Черт упрямый, я же говорила ему: это не табуретки, это наказание, — она по-коровьи мотнула головой и длинно замычала: какие это никуда-не-годные табуретки.

Н. тихо подошел, подал руку, потянул Валью к себе. Резко пахнуло ее молодым распаренным телом; она тяжело поднялась и с ненавистью оглядела белье:

— Опять стирать, пропади оно пропадом! — и тут же добавила жалобно: — Я же разбиться могла, насмерть...

Н. проглотил ком в горле:

— Да... так можно разбиться сильно. Что же ты, ухватилась за веревку? — ответил не своим голосом.

Валя подняла волоокий взор, заметила его блуждающий взгляд и озабоченно одернула тонкую юбку.

— Рука сама... схватила,— словно бы оправдываясь, сказала и тут же умолкла; посмотрела жгуче, невыносимо дерзко.

— А Герман... чего? Где? — напрасно старался говорить ровно, не задыхаясь, Н.

— Герман? — еще страшнее глядела Валя.— На работу его вызвали, подменить в ночь... В карты некому дуться!

— А-а-а...— едва слышно, робко, затаенно протянул Н.

Они постояли молча, исподлобья разглядывая друг друга, и когда стоять так и молчать стало стыдно, Валя осторожно присела и начала медленно собирать упавшее белье. Н. зябко потоптался на мокром полу и загадочно, намекаяще сказал:

— Ну... я пошел? Соберешь сама?..

— Иди! Чего же?! — неожиданно сурово вскинула красное лицо Валя, ядовито глянула и отрезала: — Иди! Чего выставился?!

Н. пристыженно повернулся и побрел к себе. Шаги его босых ног чмокали по липкому линолеуму, и становилось совсем стыдно.

Он залез под одеяло, затих, замер. Тени по-прежнему маялись с неизбывной одинокой тоской; с легкой ехидцей и укоришной, пристально глядело сверху зеленое лицо на потолке; вновь дальней стихией зашумела вода в ванной. Н. решил: «Спать, надо спать! Завтра рано вставать!» — но жар в животе мешал ему.

Неотвязно, упорно думалось о Вале: «Какая она...» — и Н. хорошо понимал, какая, но не мог выразить это привычными словами и выбирал первые попавшиеся: «Пухлая, жаркая...»

«И Герман...— прихотливо текли мысли.— Что же он? Он не дома, ночью, Герман?» И тут же вспыхнула страшная искушеньем догадка: «А Валя так и сказала: нет, мол, его дома, и не будет, всю ночь...»

«А что это значит?» — горячей волной обдало низ живота.

И Н., все растерянее волнуясь, понял, что это значит — они одни в квартире; Валя хотела что-то сказать — она недаром смотрела так жгуче, влекуще! — но не сказала ему, и вот он напрасно ушел и лежит один на диване. Чужие друг другу, соседи...

Соседями они были третий год, с новоселья, и Н. все это время видел Валу как Валу: соседка, чужая жена, с конопушками; кухня, стирка; но... странные, приглушенные, ночные полустоны-полувздохи... что это? Герман? Валя!

«А что же теперь?» — спрашивал себя Н., но объяснить новый поворот своего взгляда не мог. Мысли мешались с сумбурным качаньем спящих ветвей, и Н. упорно искал роковых объяснений...

Минувшим утром, в метро, он, по обыкновению, почитывал чужие книги, газеты, журналы, возникающие и исчезающие рядом. На свете было много любопытного, неведомого, необъяснимого...

На пересадке пухлый, зачитанный до желтизны роман о викингх и толстый, засаленный журнал со сталинскими зверствами вышли, и возникла бордовая клеенчатая тетрадь по-французски благоухающей джинсовой девицы в огромных роговых очках. Н., хмелея от тропического ночного запаха, туманно заглянул в изящные каракули и прочитал:

«Фрейдизм — псих. и соц. теория; по имени психиатра Зигмунда Фрейда. Ф. рассматривает психику человека как сложный комплекс, в основе которого лежат секс, инстинкты, т. н. «либидо».»

Девица подняла гордую голову. Его неприятно поразило это неожиданное в женской тетради: «секс» и неясное «либидо».

«Дылда...» — тотчас неприязненно метнул мужской взор на длинноволосую девицу. «Конспектирует чушь, галиматью... Чему и где их учат?» — он продолжил чтение:

«По Ф., происходит постоянное подавление и превращение секс. побуждений в те или иные виды деятельности: наука, искусство, религия, др. ...»

«Вот оно что?» — никак не укладывалось в утренней голове Н. такое неслыханное объяснение жизни. «Значит, я работаю, или в клубе... это я подавил... то самое?» — недоверчиво соображал он.

«Что же я подавил?» — и он тут же поневоле вспомнил о Любке из смежного цеха. Рыжая, бойкая, ядовитая на язык, она давно волновала его, но подступиться с любовью непросто, хотя и болтали о ней разное... «Это самое... к Любке, и подавил», — убедился Н., и от этого она стала еще неприступнее и желаннее...

И вот — Валя!

Н. тупо, борясь с дремотой и непокорным желанием, смотрел в потолок. Тени исступленно дергались, отчаявшись мстительно хлестнуть по издевательски-зеленому лицу. Неожиданно пришло в голову: этот, с потолка, и есть Фрейд, выдумавший такое стыдное объяснение жизни, и оттого безмолвно-угрюмый: «Видно, немало пришлось подавить в себе, ради этого...»

«А Валя?» — сбились эти ехидные мысли. «Положим, я ничего... — и Н. озадаченно вспомнил здоровенные кулачищи Германа. — Что же выйдет?»

И он тотчас понял — все равно, и выйдет много хорошего: уже то было хорошо, что не возникает тайны и лжи в доме — врать Н. толком не умел. И тени на стенах, удостоверившись

в его честности, быстро успокаивались, стали качаться мерно, ладно, и ветер запел тонко, лирично, и вода зашумела сладко, дремотно...

Н. задыхался свободно, лишь изредка исправляя сбивающееся на прежнюю лихорадочную дерзость дыхание, и, наконец, тихо заснул; но во сне еще долго, гордо спорил с зеленоголовым Фрейдом с потолка. Не было достаточных оснований верить ему — он был психиатр, «а то, что верно для психов — не годно для нормальных рабочих людей; и как не стыдно повсюду лезть с такими вещами...»

Утром Н. торопливо прихлебывал жидкий чай на кухне; вошла сонная Валя в байковом халате, с грохотом поставила свой чайник. Н. внимательно оглядел ее и удовлетворенно убедился: «Валя как Валя — чужая жена, соседка; кухня, стирка; а ночью...»

— Дела-то как, Валь? — на всякий случай, с намеком, спросил он.

Она угрюмо зевнула, подошла к окну, поглядела на зябнущие деревца и лениво ответила:

— Да какие дела-то? Спать хочется...

— А Герман? — все допытываясь тайной истины, спросил в кружку Н.

— Спит... — ласково-насмешливо ответила Валя.

Н., окончательно убедившись в своей правоте, встал, ополоснул кружку и, натягивая в прихожей поролоновую куртку, весело крикнул:

— Ну, ладно! Привет! — и побежал, насвистывая нечто из Моцарта или репертуара Пугачевой (впрочем, не ведая об авторстве), загрохотал по лестнице.

Маята ночных теней, сонный испуг, темные мысли, настырный спор с загадочным, темно-зеленым Фрейдом — все это оставило его. Было хорошо, просто: жизнь шла без всяких теорий.

Он выбежал из подъезда и тут же затерялся в привычном мелькании похожих лиц.

* * *

Что линия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей.

(*Песнь Песней, 2, 2—4*)

Я нарцисс Саронский, лилия долин!

Я — машинист электропоезда метро, с оцепеневшим лицом и застывшими в безвыходности туннеля зрачками; одинокий

филармонический скрипач с профилем очередного Паганини, разметавшимися змеями черных волос и горящим в безумии таланта детским взором; я — рыжий Пиквик, балагур, весельчак, душа компании, тамада, знаток анекдотов и общественных сплетен, снабженец по призванию и необходимости жить; долговязый яйцеголовый физик-теоретик с блестками тонких очков, ранней кандидатской лысиной и сытными размышлениями о способах начала и конца света (со слабостью в виде авторских песен); я — меднолицый, коренастый, кражистый, мрачно-веселый, всегда слегка выпивши, главный мясник с цепкими волосатыми руками и принципами жизни; я — тихий служащий архивного бюро с бархатной походкой, мягкими движеньями осторожных рук в вязаной тужурке и туманом неопределенно-сладковатой улыбки по поводу; я — дерущий горло рокер с космами зеленых волос и голым телом, истерзанный лоскутами грубой черной кожи и необходимостью металла в жестоком наряде, мраке ревущего зала и скорбящей души; я — суетливо-измученный токарь-изобретатель с всклокоченной мальчишеской шевелюрой и навсегда обиженно-недоуменными глазами, блуждающими по коридорам бесконечных инстанций...

Я — неведомый тебе, отвергнутый и суженый твой; несть мне числа, возлюбленная моя!

Что гордая поклоненьем звезда сцены в электрическом окружении покорного кордебалета; огненная чемпионка спринта на финишной олимпийской ленточке, впереди уносимых ветром забвенья соперниц; первая красавица выпускного класса с златокудрой головкой в перекрестье испепеляющих взглядов мрачных сверстниц,— что лилия меж тернами, то возлюбленная моя между девицами.

Что багровеющий в пафосе лампасный генерал перед невозмутимо-безмолвным строем серо-зеленых солдат; отчаянный упорством автогонщик на ревущей последней прямой, в гордом одиночестве победы над неудачниками трассы; снисходительно-добродушный культурист в окружении худосочно-завистливых юношей на пятачке городского пляжа; ошеломленный успехом, с детства гонимый художник среди провалившихся собратьев на сумасшедшем суммами аукционе,— что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами.

Он смело, легко и желанно изменил зыбкий образ и смысл одинокой жизни в бессильной тоске моей, наполнил живительной влагой слез в любви бездонную глубину бесплодного женского ожидания, открыл цветущие долины и ледяные горы наших будущих странствий в рвении страсти, развеял серый туман павших в несчастную судьбу мою унылых будней; он ввел

меня в дом пира; взор его надо мною — свет, голос — зов, губы — печать, и знамя его надо мною — любовь.

Поддержите меня добрым словом и добрым взглядом, добрые люди, жрецы добрых дел; ободрите одобрением; подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви, изнаываю от упований, избираю в трепете благословенное место, и время тайных встреч. Отведите глаза, любопытные, безразличные и завистливые, — возлюбленный мой возник из необозримого пространства надежд и неведомого времени ожиданий; вот он, подле меня; в вихре любви покидаем мы эту пустыню чуждых друг другу людей; левая рука его у меня под головой; а правая обнимает меня; отведите глаза и объективы фото- кино- и видеокамер; что вам унылая страсть запечатлеть невиданный миг невидимой любви?!

* * *

Н., прочно пристегнувшись ремнем безопасности, летел навстречу заветной мечте. Салон «Лады» туго наполнял стереозвук из динамиков у заднего стекла, июльское солнце лукаво сверкало на голубом капоте, сиреневый дым тонкой сигареты покорно уплывал с теплым волнующим ветерком в открытые окна. Было приятно: новая майка, новые джинсы, новые кроссовки, новая машина — новая жизнь, новая скорость времени.

Как и всякую мечту, ту, навстречу которой спешил Н., можно было лишь примерно назвать, обозначить, но, быть может, именно в особых, тайных подробностях и открывалось ее подлинное значение, глубинный смысл...

Мечта эта появилась еще на первом курсе престижного института, когда Н. уже твердо осознал, что «учеба в высшей школе — начало самостоятельной жизни, первые серьезные шаги к достойной цели, которая...» — так говорил отец, подразумевая, как крупный ответственный работник, нечто высокое и благородное. Послушно поразмыслив над перспективами, Н. охотно одобрил те гордые, славные цели, которые и должен ставить перед собой серьезный юноша из хорошей семьи, но вдохновиться ни одной из них не сумел. «Что за цель, если к ней вовсе не тянет?» — резонно, но молча подумал он и, не насилуя себя, решил положиться на время...

Цель явилась сама.

Произошло это в таинственной тьме кинозала, на закрытом просмотре иноземного фильма в творческом клубе, куда Н. попал, получив заветный пропуск (было ли это иронией судьбы или указующим перстом ее?) от отца, который не пожелал тратить на «нездоровую муру» свое государственное время и

хотел было отправить вежливое приглашение в свою объемистую служебную корзину, но, коротко обдумав, решил отдать сыну, дабы укрепить достоверным знанием суровую критику худших из «их нравов».

Отношение Н. с родителями в ту пору выглядели вполне благочинно, такими они представлялись и отцу, который неукоснительно следовал своим твердым педагогическим убеждениям в самых малых вещах; мать Н. словно бы боялась нарушить лаской, неверным словом ту логически стройную картину мироздания и миропорядка, что открывал перед умным сыном мудрый отец, и обычно молчала, заботливо занималась «по хозяйству». Н. же вел себя так, как и подобало доброму, послушному сыну, но... в институте уже давно сблизился с вольной компанией весельчаков из общежития, и папины канонические убеждения выветривались из его головы с опустошающей быстротой.

Бунтовать было бы глупо, как предусмотрительно решил Н., и, слегка мучаясь и слегка актерствуя, продолжал исполнять дома роль серьезного, вдумчивого сына, но все чаще спешил вечерами «в библиотеку», «на факультатив», «к товарищу для работы над курсовой»... И с облегчением вырываясь из тесного родного гнезда, лихо пускался в водоворот свободной жизни. Лишь иногда, в похмельные минуты раздумий, он представлял себе реакцию сурового отца, заставшего его «в таком месте, в таком виде», и тогда тихо, с тайным злорадством улыбался...

Быстро утолял свою давнюю жажду запретной свободы студент Н.; и так же быстро наливалось в душе неуютное чувство невозвратного времени, напрасно истраченных сил... Однообразным казалось обычное развеселье в казенных стенах общежития, и все чаще рождали несправедливую злость покладистые подружки с обильными нежностями и невинными капризами...

Так близился тот исторический для Н. день, когда в просмотровом зале медленно погас свет, с экрана хлынули ядовито-сочные краски, звонкая музыка, и быстро поплыли вверх ненужные иностранные титры.

Фильм не был особо порочным, как ожидалось; реплики действующих лиц, которые, запаздывая, переводил однообразно-унылый голос, до поры не изобличали какие-то особенные «их нравы»; главная героиня — молоденькая, длинноногая, с беленькой стрижеккой, большими глазами и ртом и детской готовностью ко взрослым шалостям, была очень мила, но не более...

Н. меланхолично подумал, что у него не было похожих подружек, хотя он и встречал в компаниях такой «стиль», и легкая досада шевельнулась в сердце. Молоденькая раскованная героиня меняла одного ровесника на другого; все — в

отличных интерьерах, с профессиональными диалогами, сочной музыкой. Но по ходу фильма появлялся молодой, слегка мрачноватый и загадочный мужчина, супермен за рулем новой сверхмощной машины, и длинноволосые юнцы в застиранных джинсах тут же отступали на задний план.

Героиня легко садилась на переднее сиденье дорогого автомобиля, крупно показывали уверенную руку хозяина на ее соблазнительных коленках, и — под хлесткую музыку автомобильных стереодинамиков — мчались по скоростной автострате в ухоженный пригород. В дивном лесу, миновав узорные металлические ворота со строгой вывеской «частное владение», они, опустив стекла, устраивали легкий пикник в машине. Наконец уверенный молодой мужчина, с которым Н. с первых же кадров внутренне отождествлял себя, застыв в последнем ряду кресел, нажимал заветный рычаг под роскошным кожаным сиденьем, оно медленно, с порочным удобством откидывалось назад, и сочные поцелуи на экране неизбежно переходили в то, что было позже безжалостно вырезано из этой ленты (для широкого показа).

Действие развивалось дальше с трагическими осложнениями в жизни героев (причиной всему были, конечно, неизбежные наркотики и неумолимый СПИД), но Н., морщась, уже едва следил за этим. Рассыпавшаяся беленькая стрижечка, прикрытые в неге глаза с нежно-синеватыми тенями, полураскрытые блестящие губы, девичья упругость податливого тела — все, что осталось до перемены кадра, стояло перед взором и составляло главный смысл...

«Вот оно...» — словно бы громко зашептал кто-то, пораженный простотой и очевидностью желанья, в живой тьме кинозала.

Путь к претворению мечты в жизнь, как и полагалось, был тернист и долог. Выйдя в тот памятный вечер в мокрый уличный снег пустеющего города, Н. не имел ни денег, которых понадобилось немало для удачного осуществления своего замысла, ни отчетливого представления о том, где их взять. На родителей сразу рассчитывать не приходилось: отец не был жаден, но требовал строгого отчета о любых истраченных суммах — в воспитательных целях. «Для необходимого» он дал бы, сколько требовалось (имелось на сберкнижке), но склонить его к покупке машины было нелегко и удалось нескоро, с психологической хитростью.

Вернувшись домой, Н. сразу же сел «заниматься». («Нельзя терять ни одной минуты, надо прилагать все усилия для неуклонного движения вперед», — не зря постоянно учил его отец). Н. открыл чистую тонкую тетрадь, написал на первой странице

сверху: «План» и, помедлив, поставил точку, не раскрывая его существа в заголовке. После этого задумался глубоко и надолго... Тетрадь эта стала документом исступленно растущего прихода и мизерного, саднящего душу расхода.

Со следующего же дня Н. начал извлекать средства из всех возможных источников. Он продал все лишнее — до любимых пластинок, книг, коньков и марок; свел к минимуму все пустые траты, забросил компанию прежних бедных друзей, тихо вымогающих деньги у подружек. Он развил активную деятельность в студенческом научном обществе, усердно участвуя в разработке скучнейшей договорной темы, получая регулярно зарплату за себя и сокурсника. Это принесло и побочную пользу: отец удовлетворенно одобрил его — «прямой выход к проблемам жизни, контакты с реальным делом», то же самое отметили в деканате. Он откладывал все что мог от стипендии, которую в очередную сессию превращал в повышенную, готовясь к экзаменам так, как прежде не занимался в жизни; летом по-стахановски работал в стройотряде, подальше, на Севере, и этим заслужил новое одобренье с гордостью следившего за его мушкетером отца.

Наконец, когда к диплому на его сберкнижке появилась круглая сумма — то, чем он жил все это время, Н. пошел на тщательно продуманную хитрость, понимая, что без помощи отца в приобретении машины все равно не обойтись.

— Папа,— мужественным, честным голосом, открыто глядя прямо в глаза, как и любил пронизательный отец, сказал Н. и выложил на полированный простор его письменного стола в домашнем кабинете пухлую пачку денег.— Я не говорил до времени вам с матерью... это мои, честно заработанные... обиды в нашей семье деньги. Я хотел бы купить что-то нужное, для нас всех...

Отец, с удивленной строгостью, но глядя ласково-испытующе, спросил:

— И что же ты думаешь нам с матерью купить? У нас, кажется, все необходимое есть.

— Я подумал...— так же честно и твердо продолжал Н., и заговорил рассудительно, тщательно сдерживая жар близкого желанья: — Может быть, стоит купить нам... свою машину?

«Важно не переиграть»,— вертелось в голове, пока отец медленно поднимал густые седые брови.

— Ведь твоя, служебная... нам часто неудобно...

Отец растер брови и насмешливо попросил:

— Позови-ка мать.

Когда она плавно, безмолвно вошла, сухо рассмеялся и объявил:

— Елена Леонидовна... Сын решил нам машину подарить.

— Машину? — испуганно дернула плечом мать. — А деньги? — и со страхом поглядела на сына. Он сделал невозмутимо-скромное лицо.

— Я думаю... — отец прихлопнул пачку своей большой крестьянской рукой, и сердце Н. поневоле екнуло. — Его деньги. Добавим, и пусть будет у сына своя. Ничего, он без ветра в голове... На работу ездить, а когда надо — с нами...

И Н. незаметно стиснул зубы, яростно думая: «Скоро, скоро... совсем скоро!»

В жаркий солнечный день разгара лета все осталось позади. Молоденькая, длинноногая, с беленькой стрижечкой и удивленно-влекущей улыбкой — точно такая, как виделось, покорно ждала у конечной станции метро, возле выезда на загородное шоссе.

Познакомились недавно, и, удостоверившись, что она — это она, Н. до поры берег ее, как запретный плод, который нужно съесть в точно назначенный для сладостей жизни срок.

— Я, Леночка, недавно купил машину... И можно бы прокатиться за город. Пикник, вдвоем, на природе...

«Машина для любви...»

— Я согласна, — просто, без лишнего жеманства ответила она. — Завтра суббота? Если хочешь, давай завтра...

«Вот оно...» — отозвалось давним сладким шепотом.

Ночью видел завтрашнее: мягко стелилось под колеса сверкающего автомобиля скоростное шоссе; поворот на проселочную дорогупряно и тепло пахнул летним лесом; листья и мох ложем любви уступали лукаво-медленному движению машины меж стволами тихих берез.

Н. остановил «Ладу», выключил зажигание, снял руку с хромированного ключа, властно опустил ее на колено замершей спутницы, и вздрогнул: он сам сидел рядом и неприязненно смотрел на собственные пальцы, больно сжимающие джинсовую ткань.

«Ты?» — исказилось лицо Н., и точно так же исказилось лицо напротив.

«Я», — нагло усмехнулся двойник. «Едем назад. Поворачивай...»

«А где же?» — шевельнул онемевшими губами Н., но голос тотчас пропал: в веере солнечных бликов и трепетании листы возникла беленькая стрижечка и удивленные, полные слез глаза. Большая трезая птица внезапно села прямо на капот и рассыпалась трескучим смехом, косо заглядывая в кабину. Лес густо

зазвенел — громче и громче; с порывом налетевшего ветра зеленень взлетела вихрем, засыпая машину.

И Н., задыхаясь, проснулся, выключил надрывающийся будильник.

Он приближался к станции метро, выезду на шоссе. Стройную длинноногую фигурку в заманчивых белых шортах заметил издали: «Так, так, все так, как и должно быть»; подъехал и распахнул дверь. Леночка скользнула на сиденье, и они тронулись в слепящую даль шоссе. Н. прибавил громкость — музыка билась смешеньем стереозвука, летнего ветра, скорости и ожидания.

— Чудесно! — весело, по-детски вертелась по сторонам эта взрослая девочка с припухшими, ало напимаженными губами, и тут же вынула из своей модной сумки два яблока, ласково протянула одно Н. Он, усмехаясь, покачал головой и поднял пальцы, показывая, что занят — держит руль.

— Тогда я буду тебя кормить...

— Не надо.

— Отчего? Как хочешь... — и Леночка сочно захрустела спелым яблоком.

Н. искоса поглядывал на нежный овал ее лица и, морщась, чувствовал собственную, туго натянутую скорбную улыбку.

— Ты сегодня особенный... — пристально посмотрела Леночка.

«Неужели все так легко и просто? Неужели купил это... как машину для любви?»

— Да... такой серьезный и гордый. И красивый... — рассмеялась Леночка.

Приближались к намеченному повороту с шоссе — «повороту событий», как явственно повторялось в такт музыке, гибко бьющейся в изнеможении чужой коммерческой любви.

Лес встретил медленно пробирающуюся меж березовых стволов машину тихо, настороженно. Н. со вспыхнувшим в груди жаром вспомнил сон.

— Лес, лес... — восторженно вертелась Леночка.

Н. выключил зажигание и медленно, обольщающе повернулся. Но дверца машины щелкнула, и рассыпался тонкий смех. Леночка уже была на лужайке, в карусели летящих солнечных пятен и трепете листьев.

Н. внезапно почувствовал, как назойливо бьет в уши ритм из захлебывающихся динамиков, рождая тупое ожесточенье; выключил магнитофон и на мгновение оглох...

Живая тишина — шелест листьев, птичий гомон; колыханье света, медленно плывущего сквозь ветви к густой траве.

— Ты так и будешь сидеть? — крикнула Леночка. Эхо...
«Ты так и будешь сидеть? Так, так, все так, как и должно быть...»

Н. долго, пристально разглядывал через лобовое стекло, как резвится на земляничной поляне незнакомая голенастая девочка. Наконец открыл свою дверь, посмотрел под ноги. По упругой синевато-зеленой травинке неторопливо, но деловито-уверенно взбиралась оранжевая божья коровка. «Зачем ты?...» — вязко подумал Н., а божья коровка доползла до конца и тихо закачалась на острие, нерешительно перебирая лапками. Н. плюнул на нее, хлопнул дверью и пошел к Леночке.

Резко схватил ее за руку, сильно, как ей нравилось, потянул к себе и вдруг увидел метнувшийся в ее глазах неожиданный страх.

— Что ты? — она вскрикнула и вырвала руку.

— Я? — хрипло спросил Н. и отвел грустный взгляд.— Иди.. Леночка, удивленно блуждая глазами, покорно пошла за ним.

Он сел в машину и распахнул дверь:

— Иди...

— Нет... Не так...— плачуще вздохнула она.

Н., раздраженно морщась, потянулся к ней из машины. Леночка отпрянула и выговорила тихо, но твердо:

— Не смей...

Н., с прилипшим к лицу тяжелым жаром обиды, выпрямился, посидел, тупо глядя перед собой в лобовое стекло. Медленно повернул голову — Леночка стояла поодаль, прикрыв пухлые губы тонкой загорелой рукой,— с размаху захлопнул дверь, рванул зажигание и круто, ломая кусты, развернулся. Не глядя, ткнул в покорно закричавший магнитофон, презрительно отвел глаза от зеркала с испуганно застывшей девичьей фигуркой, сжал руль и дал газ.

Он уже гнал по липкому палящему шоссе с иллюзией мокрого асфальта на подъемах, под грохот жестокого веселья механической музыки, к сизому мареву над городом, но в паузе между шлягерами мрачно улыбнулся, съехал на обочину, постоял, глубоко, до острой боли в груди затягиваясь потрескивающей сигаретой.

«Так, так, все так, как и должно быть...» — мерно повторял он и уже логически спокойно размышлял: в чем состояла его очевидная нетерпением ошибка и как теперь легче и скорее исправить неверный ход непокорных желаний?

Он бросил сигарету, прибавил набирающий силу лихой звук, развернулся и, усмехаясь, покатил с дымящегося гарью шоссе назад, в лес.

На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать..

(Песнь Песней, 3, 1—2)

На ложе моем, скрипучей пружинной кровати, дешевой поролоновой кушетке, лязгающем раскладном диване, неуклюжей выдвигной тахте, роскоши импортного спального гарнитура, в одиночестве женской постели замру я в тоске; электронные часы уныло моргают у изголовья, стынет чашка жидкого чая, мерцает заколка фальшивого серебра с извивом премудрой змеи (знак года), закрыта выдуманная для наивных книга о далекой красивой жизни, спрятана в сумрачных углах упаковка снотворного, надежда на отдых забвенья, полумрак и тишина недвижно стоят в проеме лунного окна,— на ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя: где его сила и власть, огонь, пронзающий тело, взлет и паденье в яростной полночной тиши,— искала и не нашла его...

Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, в слепящем блуждании упрямых фар, спешке запоздалых теней прохожих, сиротливом молчании заброшенных детских площадок, гулкой пустоте звенящих подъездов, дебрях уснувших грудой зданий, холодной синеве ненужных ночных витрин, бессмысленном усердии светофоров на голых перекрестках, под одинокими огнями окон, отвергнувших сон,— буду искать того, которого любит душа моя,— до робко брезжущего света серой окраинной зари, испуганного щелета пробудившихся городских птиц, гула и дребезга первых автобусов и трамваев, обыденного воскрешенья обморочного метро, торопливой озабоченности обреченных на слишком раннюю службу, до густого людского потока, разом хлынувшего из всех оживших зданий,— где ты, возлюбленный мой?! — искала и не нашла...

Встретили меня стражи, обходящие город,— тревожно-фиолетовый пульс света в ночи над желтой машиной с синей полосой, цепко-ленивые бессонные фары и глаза, глуховатый смешок и насмешливо-недоверчивые фразы с южным «г» и блеском стальных зубов в служебных ртах...

«Не видели ли вы того, которого любит душа моя?» — спроси их с павшей надеждой, отгони робость, недоверие и страх,— ты не встретишь удивленья в их тусклых взглядах, привыкших к худшим вопросам, что ежедневно со слепым упорством ставит в привычный тупик наша жизнь,— но что ответят они? Кто

способен опознать его, с помощью ли близких, фотороботов представленьям о желаемом, с методичностью телекамер, подозрительно разглядывающих городское многолюдное метро, вокзалов и перекрестков, с услугами яростной активности ретивых сограждан, от счастливых похвальной отвагой пионеров до бдительных опытом прожитого времени пенсионеров...

Чужие люди, чужие надежды и стремленья, дела и безделье, планы и упования, чужие правда и ложь, — но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, — вот единственная награда мне за все порицанья одинокой судьбы, тлен рассыпающихся в прах, подсчитанных канцелярией правил жизни календарных дней.

Возлюбленный мой, счастливый случай в пересчете случайных несчастий, — видишь, я не отпустила его, доколе не привела в дом матери своей, забытый дом дочернего повторенья женской доли, слезных все понимающих глаз, стоящих над памятью, как дальние звезды судьбы над озером расставанья, прощенья, забвенья...

Возлюбленный мой — явь или сон?

* * *

Кто-то позвонил и сказал прогорклым голосом:

— Ты? А это — я, привет!

Н. тихо переспросила:

— Вам кого?

На другом конце телефонной сети, цепко опутавшей город, хрипло задышало, кашлянуло, сплонуло:

— Да я это! Чего, не ясно?

Н. поежилась:

— Вы какой номер набираете?

В трубке заскрежетало:

— Что такое? Два-шесть-четыре, четыре-два, три-шесть. Ну?!

Н. прикусила губу:

— Правильно. Так кого вам? Я... у телефона.

В трубке утробно рассмеялись:

— Ну! Чего придуриваешься-то! Алле! А я — в гости; собрался, как обещал...

— Вы кому звоните? Кто это?!

— Кто-кто, конь в пальто! «Дорохово», санаторий, ну? Узбек со мной в номере жил, ну? До утра гудели, ну? Все ясно?

Н. облегченно выдохнула:

— Вы не туда попали... — и повесила трубку.

«Подумать только: в некоем санатории, такой голос; до утра; а ведь нашлась женщина, которая...»

Но телефон зазвонил вновь.

— Слушаю...

«Ах, отчего у меня всегда такой мягкий голос, когда надо порезче...»

— Ну брось, ладно! Я ж не шучу! Это — Григорий, ну? Так я еду?

— С узбеком? — неожиданно для себя усмехнулась Н.

— Почему? Ну ты!.. — хрипло удивилось в трубке. — Зачем нам узбек? Он уехал давно. Он, по-моему, и там не слишком мешал. А ты думала...

— Послушайте, как вас там; я же объяснила: вы не туда попали! — рассердилась Н. — И... прекратите гадости говорить!

— Какие же гадости? — нехорошо изумилось в трубке. — Как не туда? Два-шесть-четыре, четыре-два, три-шесть, ну?

— Да, это мой номер! Но я в таком санатории не бываю, вас не знаю, ясно?!

«И знать не хочу! Ах, эта мягкость в голосе...»

— Не зна... Не знаю! — загоготало в трубке. — Я тебя тоже... не сразу по голосу признал. Ладно. Адрес есть — еду! На месте вспомним, ну? Я горячее — взял. Пока, а то тут хмырь лысый стучит...

— Адрес? Какой у вас... — испуганной птицей вскричала Н., но в ответ уже нахально гудело.

Она растерянно положила трубку, прикусила губу:

«А если кто-то из подруг... или на службе... дали телефон?»

«Не открывай никому, и все! Если адрес... А как выяснить? Ах, негодяйки!»

«Боже мой, ведь если такой явится, может и дверь высадить...»

«Ну, глупости! Кто это станет рваться? Он поймет. Соседи выйдут. И откуда адрес? Или — в справочной? Нет... никого не будет!»

Но она уже представляла грядущего гостя по голосу. В драном ватнике и кованых сапогах, черный, заросший, с матерого медведя-шатуна, дикий человек с мутно-красным кабаньим взором.

С возмутительной бранью, смачно крякая, он крушил хлипкую входную дверь; соседи по лестничной клетке жались под кроватями, обмирая от его рыка. Он врвался, и на ходу расстегивал необъятные ватные штаны, запрокидывал косматую голову, выливая в табачную пасть бутылъ желто-липкой, с резким запахом политуры. Н. в бессильной панике бежала в комнату, но мазутные руки с леденящими душу татуировками

жадно тянулись за нею, в дверь (что за руки, ужас!), быстро росли в размерах, загоняя трепещущую от страха хозяйку на заветный диван, и — прихлопывали ее, как коллекционную бабочку, сверху, горстью...

«О, как темно, и как душно, и как жутко! И сейчас он...»

«Воображение тебя погубит. Не впускай никого — и все!»

«Надо выяснить из-за двери: кто все же был в этом «Дорохово». И если что — милицию...»

Но погибельный человек с отвисшими от ярости багровосиними губами: «Ми-ли-цию?!» — уже разворачивался, круша мебель в тесной женской квартирке, и надсадно выл, рецидивистски дергая плечами: «Ну, служба, подходи! Ко-роче...» И Н., теряя слабые надежды на спасенье, с мольбой глядела на стоящих четкой шеренгой молоденьких справедливых участковых и добрых дружинников: «Не волнуйтесь, гражданочка, минуточку!» — но зверь в ватнике уже хватал ближнего огромными волосатыми руками поперек туловища, как шоколадного зайчика, и смачно грыз ему голову, недовольно ежась от пуль, храбро выпускаемых в его тушу блюстителями порядка.

«О, как глупо, как неизбежно, и как страшно! И теперь-то он...»

«В самом деле, глупо! Такие страхи, и самой же бояться... Не туда попал; никто не придет. А если (ах, негодяйки!) у него адрес — извинится и уйдет. Что за монстр...»

Но дело осложнялось тем, что всякий мужчина отчасти представлялся Н. монстром. От слесаря, которого приходилось иногда вызывать — он поражал ее едким мужским духом: многолетней адской смесью табачного дыма, безрадостного пота и винных паров, и еще чего-то, совсем нехорошего, что долго чувствовалось в ванной или туалете, которые он, недовольно пыхтя, намекая на мелкие бытовые поборы, чинил; да, от слесаря — до весьма образованных, приличных мужчин в облаках французского одеклона (всегда чрезмерных), интеллигентов, внимание которых привлекала ренессансная грусть Н. Эти поражали ее резкими переходами от значительных, тонких разговоров к очевидной напористой похоти. А стоило в конце концов, горестно вздыхая, уступить... физическая грубость чувств, которой она с девичьих лет не умела противопоставить ничего, кроме еще большей беззащитной мягкотелости и легких слез...

Мужчины были неведомыми, хотя и широко распространенными опасными существами. К несчастью, в них было и нечто такое, что не только пугало Н., но, по скорой забывчивости, и слегка влекло. Разумеется — далеко не ко всем. «Есть же, к примеру, разные породы... собак?» — размышляла Н., оправдывая свои вынужденные поиски.

И, что касается разных собак — последним ее печальным опытом был и в самом деле сильно смахивающий на большого рыжего голодного пса сценарист, преуспевающий (по его громким утверждениям) то ли на радио, то ли на телевидении. И, конечно, несмотря на все его начальные умные, коньячные разговоры о Сартре и Фолкнере (все — с основательно наплевательской критикой), сей сценарист оказался, к изумлению Н., совершенно диким псом, как только лимит разговоров бы исчерпан. А поскольку представлять из себя дикую собаку динго она не хотела, да и не умела (теплым ленивым вечером ощущая себя уж скорее домашней миниатюрной постельной кошечкой), — нетрудно представить, что произошло и как они метались по ее квартире...

Скверная история! Сценарист был смертельно разочарован и несправедливо взбешен, как пес, у которого отняли законную кость прямо в конуре, и в конце концов торжественно поклялся не звонить больше никогда — теперь он с легкостью держал слово. Столь же разочарована была и Н., еще долго зализывала свои душевные раны, с содроганием вспоминая захлебывающийся, возбужденный лай сценариста и его любовно-протяжный вой в тот решительный час, когда в окно одинокой квартиры с обывательским любопытством уже заглядывала стеариновая луна...

«Скверная, скверная история!» — нервно бродила по своей тщательно прибранной квартире Н.

У одинокой свободной женской жизни было много преимуществ: «никто не мешал, никто не лез, никто... служанкой быть!» Но открывались и явные неудобства: иногда (приходилось признать) в доме требовалась мужская рука: прибить, повесить, починить, подвинуть... В таких случаях Н. пользовалась добросердечием ближних (по жилью) подруг — женщин, мужественно тянущих лямку замужества, — брала чужого супруга напрокат.

«Здесь, конечно, другой случай...»

Но, подумав, она сняла трубку и набрала номер.

— Зиночка, ты? Ах, не говори! Конечно. Нет, про журналы не забыла. Да, все размеры... Нового — ничего. Нет. Конечно. Нет. Обязательно. Послушай, я... Одолжи мне мужа на часок, а? Ха-ха. Нет, не шкафчик... Ха-ха. А для этого надо времени меньше, ты же знаешь... А-ха. Да, на часок, не больше. Молоток? Клещи? Да... может понадобится. Не знаю еще... — и Н. подняла глаза к потолку, представляя, что молоток и клещи и в самом деле пойдут в ход.

Трубку у подруги взял муж. Н. заговорила еще слаще:

— Дмитрий? Конечно... Поддержите слабую одинокую женщину. Нет, радикулит тут ничего, здесь пустяки...

И она вновь представила: схватка, человекомедведь, хохоча: «Радикулит, радикулит?!» — перекусил клещи, гложет молоток, и, оседлав Дмитрия, принимается когтями сдирать его скальп. «Чепуха все это. Увидит мужчину — сразу уйдет. Да и не будет никого. Поймет — не туда попал, а тут уж...»

— Да, пустяки. Просто я это сама не умею... Нет, отчего же? И кофе, и не только кофе... Немножко. Спасибо, я жду. Да, прямо сейчас...

Н. повесила трубку, подошла к окну. «Только бы не опоздал...» Вскоре из подъезда напротив вышел Дмитрий, муж подруги. Сверху оказалась отчетливо видна его искусно скрываемая плешь. «Из космоса, наверное, вообще все видно...» — мелькнуло в изящной голове Н., и она поняла: спасена.

— Эх, черт, ты все хорошеешь! Вот что значит молодая свободная женщина! — сразу начал с дежурных комплиментов Дмитрий, покручивая молоток и пощелкивая клещами. (С женщинами, кроме официальных актов, он был принципиально на «ты» — считал, это нравится им больше всего.)

— В самом деле? Ты клади.. молоток, клади клещи... — по непреодолимой инерции лукаво улыбалась в ответ Н.: «Комплименты у него всегда такие, в лоб, что поделаешь — стоеросовый; но что у меня за характер — улыбаюсь!»

— Да-а! И вообще у тебя всегда так мило, — совсем довольно скаля зубы (два золотых), ободряясь, огляделся уже в комнате Дмитрий и гордо поднял молоток: — Ну, что у тебя? Где прибить? Кого приколотить?

— Ах, нет, Дмитрий! — нежно возразила Н. — Ты положи молоток, вот сюда. Да... Он пока не нужен... Я Зиночке прямо говорить не стала... Понимаешь, мне просто нужен на час, другой... мужчина.

— Да-а? — нутряным голосом выразил глубокое, радостное удивление Дмитрий, восхищенно поднимая брови. — Это дело... — и стал пошире расправлять плечи.

— А-ха... Нет, ты немножко... всегда ты! Не так понял. Просто я хочу... — на кухне зашипело, и Н., схватившись за голову, бросилась туда.

Дмитрий тихонько попробовал задом пружины дивана, сделал лицо потрепанного, но еще лихого гусара, подбоченился, но на дне его зрачков мелькало что-то похожее на сомнение, и даже — на страх.

— Убеджало! — внесла чашечки Н. — Но кофе хороший. И коньяк...

Щелкнув ключиком, она достала из бара темно-зеленую

французскую бутылку (то, что осталось от сценариста: он был настолько не в себе, что даже не стал допивать).

— Божественно...— заиграл бровями Дмитрий, сложил губы как последний гурман, тоненько чокнулся и тут же закатил глаза, гулко чмокая: — О! Наполеон! О! — хотя ничего, кроме числа градусов, не разбирал.

— Так я говорю...— мелко засмеялась Н., протягивая ему кофе. — Ты, Дмитрий, мне нужен... Понимаешь, тут должен... может прийти один тип, а я хочу...

Но Дмитрий слышал только свое: «хочу», «нужен»,— остальное показалось ему особенно забавным, он стал громко смеяться и капнул кофе себе на рубашку. Нахмурился — пятно расплывалось,— но тут же вспомнил главное и опять оскалился:

— Пустяки! Что за тип? О, женщины...

— Да я его не знаю вовсе,— начала было Н.— Он впервые позвонил, ну и теперь... хочет приехать.

Дмитрию это показалось совсем уморительным, и он, быстро краснея от коньяка, кофе и дерзких мыслей, хлопнул взмокшими ладонями по своим остро торчащим коленям:

— О, женщины! Я же не муж тебе — зачем тайны? Какие тайны, какие небывалые истории, и — как это... недавно я читал у... Фолкнера (он на ходу вспомнил, что Н. помешана на красивых умных разговорах, и решил тотчас использовать это для родства душ).— Да, у него: «Всякая настоящая женщина — клад!» — и тут же сам удивился ловко выдуманному афоризму: — Впрочем, это еще в Библии...— и засверкал глазами.

Скверная история! Но Н. ничего не могла поделать — благодарно улыбаясь в ответ, смотрела влекуще — так жертва хищника испускает флюиды, побуждающие тотчас начать преследование, догнать и...

Дмитрий пристально осмотрел ее, оценил это свойство,— зрачки его сузились, расширились, и — безо всяких ритуальных возгласов, танцев (это, считал он, нравится женщинам больше всего) схватил ее за плечи и с забытым чувством поцеловал.

Н., задохнувшись, ошарашенно моргала, но уже быстро цепенела, как всякая жертва в когтях рока, тоскливо ощущая на своих безвольных губах вкус коньяка и кофе... сразу же вспомнив безумного сценариста.

— Дмитрий!..— наконец удалось ей выдохнуть со всей укоришной, на какую она была способна в уже весьма неудобном положении. Но прозвучало это — как страсть...

Дмитрий, тут же, следуя инстинкту, вновь схватил ее, нагнувшись, лихо расстегивая запятнанную рубаху (у него была легка волосатая грудь, а это, считал он, нравится женщинам больше всего).

— Бо... Больно...— взмолилась Н., но тщетно. Это было еще большей ошибкой — вот отчего мужчины не отпускали ее, пока страсть не переходила в ярость (а Дмитрий прямо считал, что это и нравится женщинам больше всего).

«Скверная история!» — лихорадочно соображала Н. Лицо ее пылало, всегда тщательные губы были размазаны, одежда — лучше не смотреть, а в глазах — слезы, но вовсе не от любви, как без сомнений полагал Дмитрий, а от... «всего этого, когда так хотелось отдохнуть! И этот тип звонил, боже мой, все они — звери! Один не пришел — другой тут!»

А Дмитрий с затуманенным взором, сильно дрожащими руками уже отодвигал подальше журнальный столик, с шумом вдохнул, выдохнул.

Тут и раздался входной звонок.

Дмитрий отскочил, ловя рукой полы рубашки. Н., словно ванька-встанька, выпрямилась, ужасаясь: «Это — он! Господи, приехал!» Но, увидев мечущиеся руки Дмитрия, она горячо зашептала:

— Не надо! Так — лучше! Он сразу поймет — и уйдет. Прошу!.. Пусть так. Надо только открыть. А я скажу — вы ошиблись, и все..

— Кто... ошиблись? — забубнил Дмитрий, тупо глядя на нее, но омороченно кивнул, встал и на негнущихся ногах пошел в прихожую.

Дмитрий долго возился с замком, наконец открыл дверь; растрепанная Н. на цыпочках выглянула из-за его плеча, и на пороге...

В прихожую, заживо испепеляя их бегающим в лихорадочной оценке обстоятельств преступлении взглядом, резко шагнула Зинаида, набрала в праведно вздымающуюся грудь воздуха...

Начала она — с односложных, отрывистых, ледяных слов: «Так. Ясно. Заняты. Ты. И ты...» — напор слов быстро усилился, хлынули междометия, и наконец Зинаида разразилась такой пламенной бранью, от которой Н. безуспешно пыталась заткнуть уши, а снулый муж Дмитрий немо, как рыба, хлопал глазами и губами. Бегали в комнату, в кухню, снова в комнату, в прихожую, а когда Зинаида вспомнила, что у нее, кроме всяческих слов, в состоянии аффекта есть еще и бессильные, но весьма чувствительные кулачки, и с гордостью борца за подлинную веру в чистоту чувств и отношений вознесла их над головой — раздался еще один звонок в дверь...

В дверном проеме выросла мощная темная фигура, развела мотушие руки: в одной хлипкие цветы («Это — цветочки», — забилась жилка на виске Н.), в другой — емкость прозрачного веселья; и тот самый, прогорклый голос наполнил прихожую:

— Ну, ты даешь! Уже гуляете?! — и еще, кажется, по-украински:

— О, це дило!

Человек-медведь сноровисто надвинулся и с любовным урчанием сграбастал оцепеневшую с белыми кулачками Зинаиду:

— А я уж думал!.. Не туда попал! Что «Дорохово», что узбек?! А тут — гости?! — Ну, знакомь, я — запросто!.. — и он запечатлел свой грозный поцелуй на ее челе.

Скверная, скверная история!

* * *

Заклинаю вас.. сернами или полевыми ланями не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.

Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало .

(Песнь Песней, 2, 7—12)

Заклинаю вас, ясноглазые школьницы затерянного в истории 7-го «Б» и строгие директрисы образцово-показательных школ (с расширенным знанием иноземного языка), лучезарные чемпионки областных соревнований общества «Трудовые резервы» и язвительные критикессы подслеповатых районных газет, томные секретарши сомнительных кооперативов и хамоватые продавщицы грязных прилавков «Овощи — фрукты», неунывающие инженерши по автоматизированным линиям, ускоряющим брак, и нестареющие дикторши ЦТ в иссякающих новогодних программах, холодные диагностки мрачных прогнозами диспансеров и кокетливые официантки исчезающих привокзальных забегаловок, грустные наркоманки на принудительном лечении и веселые парашютистки на летящем крыле биплана, — все, неведомые женским числом и смыслом в хаосе Нового Вавилона, — заклинаю вас сернами и полевыми ланями (в библейской символике), домашними кошками и бездомными псами (в зверинце города), беспечными канарейками и озабоченными голубями (неволя и свобода), аристократическими попугаями и пролетарскими воронами (комфорт и борьба за жизнь), цирковыми медведями и деревянными лошадками (ушедшее навсегда детство), охлажденными курами и подопытными кроликами (быт и бытие), — не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно — до испуганного трезвона будильника, грохота первой электрички, везенья свободного такси, последнего броска минутной стрелки у турникета проходной, безжалостного писка точного времени в динамике трансляции над утренней суетой служебных помещений, всеобщего обеденного

перерыва, нехотя сгущающихся над городом будничных сумерек, спешки и давки конца рабочего дня, вечерней телебурды для изголодавшихся духом, тревоги: «Не забудьте выключить телевизор!», мертвого часа исчезающих в колодцах зданий абажурных огней,— милосердием любви заклинаю вас!

Голос возлюбленного моего! Раскатистый смех, теплый шепот, глуховатое признание, трескучая брань, извиняющийся кашель, мальчишеский фальцет и зрелый баритон,— вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам (все — в сплошной уныло-архитектурной застройке), голос дробится эхом в ущельях кварталов воздвигающегося Вавилона.

Друг мой похож на серну или на молодого оленя (спрячьте понимающие ухмылки, отгоните мысли о рогах и прочих, достойных вашего же безверья наградах), на единственного в целом свете похож он, ибо только мне дано узнать тайный лик его. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку (дом, улица, служба; дом, улица, служба), повсюду является наяву и во снах, желанный!

Возлюбленный мой начал говорить мне:

«Поспешни, любимая! Оставь скудность чужих планов и дел, очнись ото сна поневоле, городской летаргии затерявшихся в толпе, привычно незаметного обморока одиноких,— встань, возлюбленная моя, выйди! Из этих дверей без числа (комната, подъезд, метро, автобус, такси), — видишь, вот зима уже прошла (кто надеялся на это?), дождь миновал (не чудо ли?), цветы показались на земле (есть ли слова?), время пения настало (слышишь ли?) — голос горлицы слышен в стране нашей (широка страна моя), безграничны всепрощенье, милость и щедрость, — видишь, смоковница распустила свои почки (вечная надежда на жизнь) и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние (вечная надежда на полную жизнь),— весна настала ныне по нашей воле, вслед нам...

Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, в калейдоскопе эскалатора в час пик, в схеме служебных дел, в предрассветном сиянии постели,— покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой и лицо твое приятны (загадка выбора сердца, все еще бьющегося посреди металлоконструкций, электросетей, параграфов и инструкций, крупнопанельных карточных домиков наших судеб)».

«Возлюбленная моя принадлежит мне, а я — ей!»

«Возлюбленный мой принадлежит мне, а я — ему!» — доколе день дышит прохладой, зноим, стужей...

Доколе — день, доколе — ночь.

«Да воздастся каждому по мечтам его...» — и Н. через десять лет ожидания получил новую квартиру на неведомой окраине родного города.

Хлопотливо перевез, расставил и переставил старую мебель, проделал за два дня два отверстия в монолитных стенах для карнизов под будущие шторы, обошел, изучая, тонушие в грязи и снегу окрестности голого микрорайона, но все не верилось, что и квадратная комната с косым видом на дальнюю, чудом сохранившуюся рощицу, и пустая кухня, кафельная ванная и крохотный туалет (в котором, к несчастью, был расколот и подтекал новый бачок) — все отныне законно принадлежит ему, и по утрам уже не придется привычно занимать очередь по нужде за въедливым соседом и его необъятных размеров женой, с сосущей тоской жарить торопливую яичницу, вдыхая ранние ароматы культовых отправлений еде в дружной семейке соседей (еще двое — могучие сыновья с ликами батыров-завоевателей), утомительно отбиваться от нападков по житейским мелочам, всякий раз отстаивая победу за превосходящим по силе рода и духа противником.

Невзрачный деревянный домик в тихо притаившемся близ центра переулке, где давным-давно, тихонько плача, умерла, «выведа сына в люди», сухонькая мать; крошечный густо-зеленый палисадник, вечерняя старушечья скамейка у ветхих окон, отполированный до черного блеска дубовый мужской стол для домино, — все снесли. В одночасье — навсегда.

Но после работы, с мыслью: «домой», душа все стремилась на старое, привычно-родное место, и сиротливо озиралась, когда Н. поневоле долго вез ее в безмолвном вагоне метро, плотно прижатый людьми, на переполненном автобусе с невиданным трехзначным номером, в тесной кабинке лифта — на последний этаж остро пахнущего штукатуркой, краской, линолеумом, нежилым холодом типового дома.

Не скоро и не до конца стало обычным долго, терпеливо ездить на работу и назад, покорно ходить вечерами и выходными в огромный, с длинными рядами пустых полок универсам, оцепенело сидеть у телевизора, в долгожданно наставшем одиночестве, меж небом и землей, удивленно-тоскливо размышляя о добровольном заточении и былой жизни.

Становилось ясно: ушло и не вернется прежнее. Детство, юность, все то первое, что является человеку до тридцати лет — словно бы ровный печальный голос отвечал бетонным эхом: «Прошло полжизни, теперь пойдет по-другому...» — и все было иное: мятущиеся над рафинадными брикетами корпусов

тучи — небо; голая, упрямо поглощающая чистоту снега грязь — земля; и люди — с неизвестными одинаковыми лицами.

Настала длинная переменчивая зима. Н. не был знаком ни с кем здесь, на новом месте; по утрам, безмолвно, как остальные, терпеливо ждал на открытой всем стихиям конечной остановке пустой, отдыхающий поодаль, тепло урчащий автобус; и здесь, изо дня в день, видел молодую красивую женщину с благородно-тонким, печальным лицом, всегда сосредоточенно-отчужденную, и, как разочарованно думалось, безнадежно недоступную.

С женщинами Н. не везло. Бойкие, энергично-цепкие инженеры на службе были замужем или напористо-быстро решали проблемы нового замужества, а для легкого флирта кандидатура Н. им не подходила.

С развеселой компанией убежденных холостяков (возглавлял ее всегда гостеприимный, алкогольно-остроумный Шошин) Н. дружбы не водил, не умея поддерживать тот залихватско-ернический или цинично-мрачный тон, что царил меж ними. Коллеги на службе считали его добрым, но скучным малым, которому даже новый анекдот рассказывать не интересно, не стоит. Он давно, сам не ведая зачем, по детской привычке, лениво собирал марки: коллекция не была ни редкой, ни ценной; упорно смотрел не сдающийся врагам из ремонтного ателье черно-белый телевизор; изредка, после шумных служебных разговоров и схлынувших очередей, ходил в кино; однажды, случайно, рискнул посетить филармонию, мимо которой брел вечером к станции метро, — честно мучился все первое отделение тайными глубинами современного симфонизма возле нахохлившейся незнакомой дамы с глазами тихо помешанной, той, что и навязала ему подозрительно лишний билет; но потом, огорченно стыдясь себя самого, жалел напрасно истраченные деньги, время и силы...

Н. привычно глядел на незнакомую женщину с тонким лицом и представлял: человек — лорд с лицом лощеного зарубежного актера (фамилия неизбежно вылетала из головы), на дипломатически длинной машине, уверенно ухмыляясь, везет свою избранницу на камерный концерт для посвященных... И стоило вообразить себя — в обвисшем драповом пальто с нелепо оттопыренными накладными карманами рядом с оранжевым лисьим мехом на элегантной дубленке, уютно хранящей тепло молодого женского тела, — становилось стыдно, настроение неизбежно падало, портилось, и он был угрюмо рад, что таинственная женщина никогда не поднимает глубоких глаз, словно бы позволяя ежедневно, понемногу, на остановке и в автобусе,

созерцать ее манящую красоту, не встречаясь с откровенно-неловким, бесперспективным взглядом.

И уже словно бы без всякой связи с этой влекущей женщиной, в суматохе разлучающего всех метро, Н. упорно думал, что теперь, имея заветную отдельную квартиру, мог бы, наверное, рискнуть и жениться; дерзкая мысль эта лишь удивляла и озадачивала его, не пугая так безысходно, как прежде. Он даже пытался представить себе будущую жену — как бы примеряя женщин, оказавшихся волей providения поблизости, в тесноте вагона, на сей предмет; но ни одна из них с первого взгляда не годилась для спокойного флианрования в милом домашнем халате по просторам новой квартиры, и мысли всякий раз, как в колею судьбы, съезжали к облику таинственной незнакомки, хотя именно она менее всего подходила для не самой завидной, как трезво-критично считал Н., сомнительной роли его воображаемой жены. Он решительно отгонял эти мысли, и вновь, с тихой мукой, желал их: словно бы пробовал непокорным рассудку языком угрожающе больной зуб, неизменно удостоверяться, что боль — рядом, и все-таки желая испытать ее снова и снова.

Если вначале он вспоминал о незнакомке лишь утром, на выюжной остановке и в дребезжащем автобусе, неотрывно глядя на ее скрывающее выдуманную тайну загадочное лицо, то вскоре уже просыпался с самой мыслью о предстоящем новом свидании в утренней дороге, и волнующий облик долго, с трудом вытесняемый служебной суетой, стоял перед глазами, путая навязанные дела и неотвязные мысли. Становилось упрямо жаль, что вечерами он лишен, казалось, принадлежащего ему теперь права вновь видеть ее; и в дыму задумчивой сигареты, с тоской заключенного подолгу стоя у темнеющего окна, Н. смотрел на соседний корпус, из которого по утрам в урочный час являлась она, далекая и близкая; мальчишески старался угадать заветное окно, и уже чудилось, что зеленоватый свет и неуловимый силуэт за легкими шторами, плавающий по такой же одинокой однокомнатной квартире в доме напротив принадлежит незнакомке; мираж обладания новой тайной дразнил его так, что и долгой ночью кратко снилось то неразумно-сладкое, когда он, с внешностью все того же неотразимого актера, был обожаем стремительно теряющей голову избранницей, то тягостно-постыдное, когда в собственном обличье, неловкий, скучный и косноязычно-назойливый, он бывал жестоко осмеян и презрительно отвергнут ею.

Постоянно мечтая о загадочной незнакомке и смутном будущем, Н. впервые за долгие однообразные годы обратил критический взор и на самого себя. Он уже не забывал мужественно

бриться каждое утро и менять поразительно быстро пачкающиеся рубашки, прежде редко отдаваемые в прачечную из-за лени и скуки в очереди. Вскоре был куплен новый радостный галстук, стремительно дорожающий костюм с зарубежной искрой и модные ботинки на чересчур высоком каблуке — они, прибавляя роста, словно бы приподнимали духовно... Бюджет трещал по швам, но Н. неожиданно (и для самого себя) поразил всех сослуживцев, удивленно подтрунивавших над заметными переменами в его облике: купил сказочную дубленку, безнадежно предлагаемую разоренному Шошину модным Фалеевым из отдела рекламы.

Н. долго взирал из своего рабочего угла на заморскую вещь, слушал небрежно-хладнокровный говор Фалеева, присвист сотрудников отдела после объявления пугающе круглой цены, нервный покаянный смешок погрязшего в долгах Шошина и вдруг, прижмуривав глаза, словно перед прыжком в ледяную воду, вскрикнул:

— Фалеев!.. Я, пожалуй, возьму...

Тот с недоуменным интересом глянул в его сторону и догадливо ухмыльнулся:

— Нет... Ждать — вещь не терпит. Деньги...

— Деньги — к вечеру, — твердо и даже злобно выговорил Н. — На книжке деньги!

Шошин, обводя отдел изумленным взором, словно бы призывая всех в свидетели очевидного чуда, загоготал, хлопая себя по джинсовым коленям: «Вот — диво! Это... вот!» — и все одобрительно зашумели, пристально разглядывая Н., находя в нем нечто новое, ранее неизвестное, а он гордо-смущенно находился и медленно порозовел.

«Купил — не торгуясь», — ожесточенно думал он в длинной дороге домой, с изнурительным ознобом от той ледяной воды, куда отчаянно бросился, лихо распорядившись заветными сбережениями, которых раньше не касался и в мыслях.

«Купил и сделал верно, носить надо, ведь это вещь!» — упорно убеждал себя, и все же от безвозвратно миновавшего поворота судьбы («Рыбка плывет — назад не отдает...») — с хитрой усмешкой гадкого мальчика предупредил Фалеев, тщательно, слюняво пересчитывая деньги в исчезающей пачке) было не по себе — тошнило от сомнений и раздувающегося запоздалым жаром волнения.

Но стоило на мгновенье представить будущее утро, автобус, незнакомку и собственный роскошно преображенный облик — это придавало испугу радостную силу, мужественное воодушевление:

«Подумай... живем лишь раз!» — быстро и разрушительно

проносилось в голове: «Один только раз и живем... так неужели не должен... я-то, что мне!..» — и это напоминало уверенностью ритма агитационные стихи, декламацию истин.

Дома он долго рассматривал себя в неожиданной обновке, принимая у старого, выдавшего виды шкафа с зеркалом надлежащие позы. Вещь была стоящая, но что-то портило общее впечатление благополучия и лоска: Н. вновь и вновь изучающе приглядывался к туманно-волнистому отраженью, бросал быстрые, внезапные взгляды искоса, пока наконец с тихой яростью не понял: причина крылась в его собственном простом, продолговато-настороженном лице.

«Что за лицо! И почему я раньше не замечал, какое глупое, плоское лицо!»

Хотелось плюнуть в зеркало. Н., собрав остатки духа, стал упорно гримасничать, отыскивая мужественный благородный лик, но закрепить его не умел — стоило, немного успокаиваясь, походить по комнате и снова бросить решительный взгляд в зеркало — навстречу с неким вопросом и мукой в глазах тянулось прежнее возмутительное лицо. Он окончательно разъярился, не желая смириться с незавидной долей, и неожиданно заметил: именно злость придает нужную решимость и силу — это и надо было хорошенько запомнить на будущее, для того главного утра, когда...

Он еще не знал точно — когда, но уже знал наверняка, в сладости ожидания и холоде тревоги, что подойдет к таинственной незнакомке, и она... назовет номер телефона, или... имя,— как упорно охлаждал кипящие мысли Н. Он долго тщательно обдумывал — где и как подойти к женщине: на остановке, в автобусе или в метро; тщетно мучался в поисках первых слов — они не должны были прозвучать грубо, назойливо, нахально или плоско, бесцветно; — скромно, сдержанно, обаятельно...

«Я давно езжу с Вами и подумал...»

«Я заметил Вас еще месяц назад, когда...»

«Мы ездим с Вами каждое утро, в одно время, и я...»

Все это было из рук вон плохо. Н. нутром чувствовал, как то, и другое, и третье беспомощно, коряво и не сулит успеха даже в повторении дома, у зеркала, а вымолвить нечто подобное перед чарующей незнакомкой, которая, быть может, и уделит ему всего несколько торопливых мгновений, разом решая судьбу, замершую на грани новой, энергичной, романтической жизни и старой, обыденной, мучительно надоевшей... Так и не подобрав нужных слов, Н., скрепя сердце, решил верить их достоверности случая, вдохновенно момента...

Спал он мучительно — во сне мрачной гурьбой явились скверные, тайно и широко осведомленные люди; они, с гулкими криками: «Где? Где?!» — не узнавали его в новой дубленке и намеревались незаконно-сурово карать за истраченные чужие деньги и неведомые будущие грехи. Погоня: крутые металлические лестницы, лягз и скрежет; бесконечные изматывающие коридоры с коварными засадами и гулким хохотом в зловещетусклых углах; яркий свет и симфоническая какофония в распахнувшемся филармоническом зале; огненно-рыжая, помешанная дама с липкими, вымазанными клюквенным вареньем руками; она бесстыдно тянула свои мокрые красные губы, цепко обнимала за шею, порочно шептала что-то вожделенное на ухо, намекая на спасенье, пригибала на пол, под синий бархат кресел, — и все это с горестной всепонимающей улыбкой наблюдала таинственная незнакомка. Именно тогда, выкатившись в пыльный ковровый проход, удушливо барахтаясь в ворохе кружевного женского белья, уже сам полураздетый, с ног до головы вымазанный мертвенно-белой пудрой и алой помадой, Н. и начал поспешно объясняться, понуждаемый грубыми пинками кованых сапог стоящих над ним незабываемым полукругом людей в кожаных плащах; услышал в ответ короткое, непонятное, может быть, на чужом языке, но несомненно отвергающее: женщина гордо удалялась на волю; и — скрежеща зубами от провала, позора и гибели, он проснулся с избитым наяву телом и окаянно-постылой тоской.

«Сегодня!» — ярко и тревожно вспыхнула первая, главная мысль.

Утренние пассажиры уже выносливо ожидали автобус на змеящейся асфальтовой площадке, зябко ежась от колючего снега, летящего с порывами заплутавшего ветра со стороны заледеневшей рощицы; в глазах — то обиженно-бесмысленное выражение, что бывает у невыспавшихся, лишенных удовольствия (милости, права) понежиться в ранней постели людей.

Н., уже ничем не походивший на себя прежнего, в роскоши буржуазной дубленки, неловко пошел на свое обычное место, подле фонарного столба; как и все, смиренно-укоризненно поглядывал на испытывающий людское упорство, гордо пыхтящий автобус; и, все больше, до озноба, волнуясь, — жар дубленки или декабрьский холод? — обращал ищущий взор на угол соседнего корпуса, из-за которого по утрам появлялась незнакомка; казалось, лучше всего было бы ей в этот день опоздать, не прийти, исчезнуть...

Она вышла, как всегда, гордо, независимо, неторопливо; во-время; тут же, лениво-развязно покачиваясь, подкатил на-

глумившийся вволю автобус; прошипев что-то неразборчивое, презрительно лязгнув дверьми; все поспешно сели и безмолвно тронулись в путь.

Н. с немым вопросом, растущей тревогой вглядывался в независимое ни от кого, ни от чего тонкое лицо незнакомки; маятник в душе изматывающе качался от надежды к отчаянью; женщина стояла гордая, неприступная, как сфинкс, хранящая тайну влеченья власти.

Все произошло быстро, судорожно, непоправимо. Н. ринулся к подземному переходу, притаился у лестницы, решительно преградил женщине дорогу и начал сдавленным голосом:

— Простите, я уже давно...

Незнакомка, удивленно отпрянув, медленно, гневно подняла бархатно-черные обворожительные глаза; внутри обмерло, оборвалось, застыло; она тихо, возмущенно сказала, пристально глядя с гипнотически-ледяным внушением:

— Какое хамство... Дайте пройти!

И прежде чем Н. успел шевельнуть похолодевшими губами и застывшим телом, сделала элегантно-легкий шаг в сторону, презрительно отвела дивные глаза, и — удалилась вниз по лестнице, сквозь тающие облака мечтаний; скоро, спокойно, свободно.

Он прощально смотрел ей вслед, бегущие люди недоуменно-торопливо толкали его, а в гудящей голове тяжело, тупо и жгуче, как утюги, двигались медленные мысли:

«Хамство... сказала она; да, хамство... Посмешище, хам... Она замечала, все знала... Добился...»

В метро и на работе люди передвигались быстро, беззвучно, по-рыбьи открывая рты и шевеля губами, как в забытом немом кино. Наконец перед остановившимся взором Н. крупным планом всплыло огромное круглое лицо Шошина и издалека, глухо донесся его едва знакомый голос:

— Друг... не в себе? Перебрал? — испытующе-понимающе заглядывал прямо в душу, и это было неотвязно-мучительно.

— Нет-ет... — так же издалека, растягивая губы и звуки, нехотя ответил Н. и, тупо помолчав, прибавил: — А надо выпить? Ты думаешь?

Тот с догадливой улыбкой одобрительно затряс головой, тихо отошел к Рыбникову, понуро сидевшему с постным лицом за ташелым кроссвордом, быстро переговорил с ним, вернулся и зашептал в ухо, как заговорщик:

— Лады... Надо вещь твою обмыть, верно?.. Но вот с деньгами... или ты ставишь?

— Конечно...— медленно удивился Н.— Как же?

Шошин окончательно повеселел, и мастерски, на лету, выхватив и спрятав фиолетовую хрустящую бумажку, из тех, что оставались после торга с дубленкой, тут же юркнул за дверь, к начальству, где артистично отпросился в поликлинику, чтобы, как выразился уже в пальто, на пороге отдела, «подготовить все загодя, в лучшем виде».

Входили и выходили, смеялись и ругались, мирно беседовали люди, а Н., оцепенев за своим рабочим столом, неотрывно смотрел в морозное окно. На крохотном скверике по детской ледяной горке мальчик в ушанке скатывал свою лохматую беспородную собаку; она отчаянно виляла хвостом от страха и радости, слепящего солнца и искрящегося снега, от близости и любви к маленькому человеку. Необъяснимо и несбыточно хотелось стать счастливым, как эта собака. Но стоило перевести сощуренный взгляд в серый туман отдела — перед глазами плыли черные и лиловые шары, смутные, белесые контуры людей, кульманов, шкафов, и сама жизнь здесь, вне заветной воли, казалась слепой и тоскливой.

Неуловимо темнело, и косые тени, окрашиваясь в глубокую синеву, незаметно удлинялись, вытягивались на вечерний покой. Тянувшая утренняя боль отпускала, уходила глубже, становилась тоньше,— когда возник решительно-торопливый Рыбников, резко хлопнул по плечу и нетерпеливо объявил:

— Все! Пора нам со двора... Без пяти шесть. Фалеев — внизу. Шошин помирает, поджидая дорогих гостей.

И в груди снова тупо, жадно заныло.

На короткий звонок Шошин тут же распахнул дверь со страдальческим видом и укоризненными речами:

— Вы — не люди! Сидеть до упора? Водка прокисла... Надо бы сказать вам любимые слова, но мне не позволяет внутренняя культура...

Фалеев и Рыбников дружно захохотали; Н. пристально посмотрел на них и решил сделать то же самое, но в груди лишь жалко захрипело.

За холостяцким столом, выслушав торопливый деловой тост Фалеева о красивой жизни и дубленке, как ее онтологическом атрибуте, Н. послушно, как лекарство, выпил стопку ледяной водки. То место, где упрямо, изматываяще ныло — ошпарило и заглушило стыд. Тотчас стало дымно и шумно. Шошин благобно порозовел, налился жизненным соком, начал бесперебойно сыпать анекдотами. Все охотно смеялись, и Н. тоже смеялся, понимая, что анекдоты — это смешно и надо смеяться. Он попытался и сам рассказать что-то застрявшее в памяти с

детства, но его с еще большим хохотом остановили и предложили «лучше выпить». Пили еще и еще, но хмель до времени не тяжелил голову и не давил бессмысленным грузом на плечи, как это обычно бывало с Н., а лишь смешно путал мысли, стирая боль и обиду в гулком сердце. Становилось натужно-весело, и Шошин, ободренный возгласами закадычных друзей, от разговоров о женщинах предложил «перейти к делу», «выписать», как он выражался, «племенных телок», и Фалеев тут же, потрясая записной книжкой, вышел с хозяином звонить «дежурным подругам». Рыбников продолжал упорно, подробно, нудно рассказывать длинную скотскую историю о какой-то пьяной даче, где гости случайно «перепутали дам», и Н., поминутно морщась, тупо качая головой, слушал его, думая о чем-то своем, неопределенном. В невероятном конце этой свинской истории он неожиданно начал испуганно клевать носом, и хозяин понимающе, мягко, но властно уложил его на узенький диван, наказав «крепко отдохнуть», «не грустить», «собраться с мыслями», дабы «быть на высоте к прибытию дам».

Снилось:

Дребезжащий утренний автобус шел юзом и угрожающе кренился на неожиданных поворотах с детскими ледяными горками, мимо удивленных мальчиков с лохматыми собаками; мелькали старые, на снос, деревянные домики с ветхими ставнями, промерзшие палисадники в лабиринтах недостроенных бетонных корпусов. Н. тщетно искал ватной рукой поручень, подслеповато, качаясь, склонялся к стеклам — мутило, но окна были задраены наглухо. Безумный автобус все разгонялся, не щадя свой изнемогающий, раскаленный двигатель; валил пар,— и это была уже кружащаяся комната Шошина; вокруг стола полукругом стояли угрюмые кульманы, а меж ними — те дикие, безжалостные люди в кожаных плащах и кованых сапогах, что так упорно гнались ночью и теперь настигли, праздно тризну неминуемой смерти.

Раздался длинный, нестерпимо острый звонок, и стало страшно, душно, жарко... Шошин кинулся открывать; из прихожей рассыпались женские немилосердные голоса и резкое щелканье сумочек или затворов приготовленных загодя ружей. А Фалеев, лихо вывернув автобусный руль, с размаху уперся в отчаянно заскрипевшие педали, открыл лязгающие двери и громко объявил: «Комарово. На недельку, до второго... Дамы прибыли и наводят красоту, чего придется подождать». Внутри испуганно, тоскливо ждалось; Н. с удивлением слушал, как быстро и звонко бьет стремительно уменьшающееся сердце. «Пить...»

И тогда в автобусную дверь изящно вошла дивная женщина со странно знакомым, отрешенным лицом — ближе, ближе! — медленно, гневно подняла обворожительные, бархатно-черные глаза; внутри обмерло, оборвалось, застыло; она тихо, возмущенно промолвила, пристально глядя с гипнотически-ледяным внушением:

«Какое хамство...»

Н., по-бычьи мотая головой, сел на диван. У стола длинно, обидно рассмеялись. Обвел красными, наливающимися стыдом глазами силуэты женщин с плывущими лицами, буркнул что-то угрожающе-жалобно, и, нервно поднявшись, побрел на деревянных ногах из качающейся комнаты. В полумраке прихожей долго, ожесточенно натягивал толстую, неподатливую дубленку, прилаживал на чугунную голову тесную шапку и яростно открывал упрямую входную дверь, уже отпихивая недоуменно-веселого Шошина. Когда уже падал в мелькающую пропасть на грохочущем лифте, сверху прощально неслось: «С ума сошел? Куда! Заберут!.. С ума сошел?!»

В лицо и грудь ударило каменным холодом. Н., широко, по-матросски расставив ноги, встал у грязного сугроба, держась за одинокий обледенелый столб; из-под руки горячо таяло и текло; маялся долго, мучительно, с жалобным облегчением. Перед глазами, в мутной красной пелене плавало холодное, печальное женское лицо — без сострадания, участия, понимания.

«Пропади ты пропадом!»

На этом можно было бы закончить незамысловатую историю... если бы не настоятельное требование замысла, варианты конца:

Через неделю Н. с немалым трудом и убытками продал неприлично дорогую дубленку, а к метро начал ездить другим, дальним маршрутом.

Незнакомка, как писал знаменитый поэт с мертвенно-белым, недвижимым лицом, «дыша духами и туманами», «всегда одна», долго терзала воображенье, рождая несбыточные надежды в измученной душе Н., и — исчезла в одно короткое осеннее утро — без видимых причин, долгих объяснений, заветной весточки, памятного следа...

Н., превозмогая себя и немилость судьбы, упорством, терпением и верностью покорил каменное сердце; доброй подружкой, верной женой обернулась неприступная незнакомка; в счастливом браке, в окружении множества детей и внуков прожили они душа в душу до глубокой старости и умерли без слез

и сожаленья, с тихой благодарностью судьбе — в один день и час.

Так ли это было, иначе?

«Да воздастся каждому — по мечтам его...»

* * *

Заклинаю вас сернами или полевыми ланями
не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей
угодно. Кто эта, восходящая от пустыни?.

(Песнь Песней, 3, 5—6)

Заклинаю вас, сиреневоокие (в очках «поляроид»), аккуратные, немногословные программистки, гордо проникшие в выдуманные для быстрого счета потерь тайны бездушных компьютеров; громогласные, мужеподобные техники-смотрители с тяжелой управой на безалаберный, монтерный, дворницкий народ; кружевные, меховые, кожаные, парадно-обманчивые, загадочно-презрительные манекенщицы, фланирующие с умопомрачительной длиной ног, ресниц и профессиональных взглядов; бодро и тревожно щебечущие в телефонной сети, как бьющиеся в неволе птицы, конторские секретарши с сердечными секретами, не существующими для верных подруг; необъятные, золотозубые, с башнями соломенных причесок и государственных грудей профсоюзные гранд-дамы со списками комитетов, симпозиумов, совещаний, делегаций; стоически-неприступные вахтерши в серо-коричневых пуховых платках и казенном удобстве ватников и овчинных безрукавок, — все, нежные и жестокие, гордые и поникшие, молодые и молодящиеся, счастливые и делающие вид (назло всему), — заклиная вас сернами и полевыми ланями (как библейский царь), удивленными медведями коала и покорными судьбе морскими коровами (из Красной книги), тщеславными породами собак и бесславными беспородными (из дебрей городских кварталов), искусственным многоцветьем изумленных своей долей аквариумных рыб (с архипелага неведомых тайн жилищ), — всем бестиарием нашей жизни заклиная вас, — не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно, до неясной тоски и тревоги, торопливых и долгих слов расставанья, прощального исчезновенья в дали этого скрывающего неисчислимость судеб Нового Вавилона.

Кто эта, восходящая от пустыни незнакомых людей, как бы столп дыма (знак огня страстей), единственная в целом свете — возлюбленная моя или память о ней, бережно окуриваемая мирром и фимиамом желанья?..

О, благодарю тебя за миг и вечность, хранящую миг, мой возлюбленный! Вещи, слова и дела его преображены в глазах моих: защита от унынья жизни без святых прикрас любви (у каждого меч при бедре его ради страха ночного). Царь мой, возлюбленный, одр его из дерев юности нашей; золото, серебро и пурпурная ткань иллюзий,— взгляните моими глазами, сестры, и да увидите возлюбленного вашего не в сером тумане городских сумерек, а в сверкающем венце желанной власти над вами, не с хмурым движеньем бровей в заботах извечных будней, а с дивной улыбкой в день радостный для сердца его...

О, возлюбленный мой!

О, возлюбленная моя!

Да будет мир преображен в любящих глазах ваших!

* * *

Когда над городом удивленно мерцают звезды, когда в одинаковых новых кварталах пустынно светят фонари, когда блуждающими зелеными огнями в густом лесу спящих зданий редкие такси ищут одинокого путника... Мужчина и женщина лежат с открытыми глазами, недвижимо, молча, и их медленно, неотвратно несет в ночь надежд, живущих воспоминаньями, и воспоминаний, обретающих надежды...

Мужчина: «Помнишь тот теплый густой вечер, на холмах, откуда виден весь сверкающий город; как неожиданно трудно стало найти слова, еще миг назад такие легкие, щедрые. «Ты меня понимаешь?» — «Да, я понимаю тебя, очень!» — и какими... это помню я — горячими от ожидания, нежными, и холодеющими в головокруженьи были твои губы».

Женщина: «А помнишь тот страшный ливень, что начался далеко за городом, когда мы плутали в поисках чьей-то забытой дачи — где она? Озеро: и ты сказал, что верный способ не промокнуть до нитки — это войти в воду, укрыв вещи; и мы хохотали, словно безумные, и ты сказал, что проще обсохнуть так, бегая вдоль берега, и мы бегали, нагие, а я заметила: на другой стороне озера все это время сидел изумленный рыбак... как он качал головой... помнишь?»

Мужчина: «Тот заброшенный к зиме детский городок в парке, и пустой зверинец, и одинокого грустного медведя, — как он разглядел нас издали и встал на задние лапы, взялся, словно человек, за решетку и так моляще, печально стал проситься на волю... И ты грустно сказала: «Не надо было ему видеть, мы обнимались, а он — в неволе, один...» — чем мы могли помочь ему, чем?»

Женщина: «Там, в центре, на площади, в этой толчее,

случайное свободное место на скамье; я села, а ты склонился, на колени, при всех, и спросил громко, врасплох: «Любишь меня?» — и так огорчился, когда я промолчала, не смогла ответить; но если бы знать тогда... у меня едва хватало сил не заплакать — так было неожиданно и счастливо...»

Мужчина и женщина лежат с открытыми глазами, недвижимо, молча, а ночь несет их дальше и дальше...

Мужчина: «Этот странный полупустой зал, концерт, куда мы забрели в шальном кружении по городу, и — виолончелист с недоуменным лицом, что все время косил взглядом на тебя... о, как ты была хороша! — и я наклонился и ворчал: «Видишь, ты мешаешь ему играть, в перерыве его накажет тот, во фраке, на тумбочке...» — и мы едва сдерживали смех... но что могли поделать? Ты помнишь?»

Женщина: «Это чудесное вечернее кино на открытом стадиончике: одни парочки, поодаль друг от друга, сидели и целовались; экран был бледен, а кончался фильм уже в густой тьме, где вились ночные бабочки, и помнишь... Нет, это помню только я — какой сильный, нежный, с какими родными глазами ты был в те вечера...»

Мужчина и женщина лежат с открытыми глазами, недвижно, молча, а ночь несет их дальше и дальше — туда, где время становится надеждой, а надежды — временем...

«О, летящая по улицам осень; как сразу, вместе, мы поняли там, в гостях, где было столько людей, разговоров, шума, музыки, что нам сейчас никто в сущности не нужен, кроме друг друга, — да! с какой силой! И, словно в лирическом кино, мы сбежали ото всех; а на улице был ледяной, сырой ветер; и мы мчались в такси, все крепче сжимая руки; и — помнишь ту ночь?»

«Помнишь ту ночь? Как тихо было в доме от того, что за окнами метался ветер и капли били в железное; как потрескивал и светился старый приемник с далекой, нездешней мелодией в полумраке, — помнишь ее, помнишь? И мы замерли рядом, молча, без сил...»

«Ты все помнишь?»

«Ты помнишь?»

Мужчина и женщина лежат с открытыми глазами, недвижимо, молча...

А между ними, разделяя их воспоминания и надежды, лежит огромный город, над которым удивленно мерцают звезды; город, где одиноко глядят фонари, где блуждают зеленые огни такси в поисках путников...

Мужчина. Н. Женщина. Н.

Их могла бы соединить через весь город, от одной одинокой окраины к другой, тонкая временная связь меж людьми — телефон, придуманный для тех, кому некогда или ни к чему видеть друг друга...

Но уже поздно. Звонить — поздно.

И так — каждую ночь.

СТИХИ И ПРОЗА

* * *

Всей странюю загрузили
Всей душой изнемогли
Когда в гроб его вместили
На том свете разместили
В центре нынешней земли

Ну а сверху глас Отчизны
Вдруг раздался как живой:
Эй, товарищ, больше жизни!
Отпевай, не задерживай шагай!

* * *

Вот человек гуляет по кладбищу
И что-то там такое ищет
А ищет ясно что — могилу
Возможно, что возлюбленной и милой
Возможно, матери — жены
Возможно, будете поражены —
Да, он свою могилу ищет
Ведь расстрелял уже он тыщу
И скоро чья-нибудь найдет его рука
А был он председателем ЧеКа
Средь южной Ялты, дивной, словно нарисованной,
Но был он ведь парализованный
И не ходил на собственных ногах
Да и убили его где-то там, в горах
И где его теперь витает прах
Где дух его подвижный бродит
А человек по кладбищу все ходит
И все чего-то на кладбище ищет
Возможно, ту расстрелянную тыщу

Не перенапрягая жил
Я жил от давних лет войны
И до шестого вот дожил
Руководителя страны

Вот жил не перенапрягаясь
А ежели вот напрягусь —
И все помчится вдаль как Русь
На тройке, памятно ввергаясь
В прочие народы

И СМЕРТЬЮ ВРАГОВ ПОПРАЛ

Жил давно на Руси великий русский писатель. Был он известен во всем мире, даже не умевшим читать по-русски, даже совсем не умевшим читать.

Происхождения он был самого знатного и чистого. По отцу он восходил к самим Рюрикам, а мать по прямой линии шла от Ивана Грозного. Не было фамилии знатнее, и не было в этой фамилии писателя талантливее.

Вел писатель жизнь, соответствующую его знатности, богатству и нормам его круга. Ездил на балы, кушал в ресторанах, играл в карты, дрался на дуэлях и писал книги. Все он по-пробовал и во всем был удачлив.

Поехал он как-то в загородный ресторан Яр с друзьями и цыганками. Проехали полпути и остановились. Ямщик говорит: «Барин, ось сломалась. Менять надо». Вышел писатель из кареты. Первый раз в жизни оказался он пеший вне своей усадьбы или английского клуба. А кругом стоит стон, крестьяне на полях работают как рабы, женщины в плуг впряглись, детишки плачут и с голоду пухнут, скотина тощая ревет, низкие хлеба жалобно шелестят. Посмотрел писатель окрест себя, и душа его страданиями уязвлена стала.

Вскочил он в карету и велел домой скакать. Друзья и цыганки удивляются, а писатель молчит и лишь ямщика торопит. Прискакали домой. Тут же продал писатель свое имение Ясная Поляна какому-то приятелю, всю скотину, мебель, одежду, деньги и землю роздал бедным и ушел в народ.

Пришел он в народ, на Волгу, бурлаком нанялся. Был он огромного роста и силы непомерной, и везде отстаивал он права

простых тружеников. Бригада, где он работал, и получала больше, и кормили ее вкуснее. Уважали писателя в народе и дивились: откуда такой грамотный и справедливый среди них завелся?

Наблюдал писатель народную жизнь и понял, что не может он работать сразу на всех фабриках и заводах, во всех бригадах и артелях, во всех полях и покосах, чтобы отстаивать правду народную. Понял он, что поможет только революция. Написал он песню про Буревестника, который гордо реет над седой пучиной моря и нисколько не боится бури, а всякие подлые пингины и гагары прячут жирные тела куда потеплее. Разоблачил великий писатель в своей песне врагов и призвал народ к восстанию. Узнал народ про эту песню и поднялся.

Но недостаточно твердо взялся народ за оружие и был разгромлен.

Напали на великого писателя пингины и гагары и кричат: «Не надо было браться за оружие». Выпрямился писатель и гордо отвечает: «Надо было, но только смелей и решительней». Но обманутый народ поверил гагарам и пингвинам, а за писателем установило слежку 3-е отделение.

Сказал писатель: «Когда-нибудь они поймут, что я был прав, что я был всей душой за них». После этого ускользнул он от сыщиков и бежал в Италию на необитаемый остров Капри. Построил он себе шалашик и стал жить, питаясь ягодами и грибами. На маленьком пеньке, заменявшем ему стол, начал писатель создавать величайшую книгу о рабочем классе, чтобы раскрыть глаза на обман.

Прослышали во всех странах, что живет в Италии, на необитаемом острове Капри мудрец, питается он только грибами и ягодами и день и ночь напролет пишет что-то. Стали приезжать к нему за советами. Помог он итальянским железнодорожникам выиграть забастовку, англичанам тред-юнионы основать, немцам организовать II Интернационал. И с каждым он разговаривал на его родном языке, без малейшего акцента, это была его единственная слабость. У каждого спрашивался он о здоровье, о жене, о детях, давал совет, наставлял и отпускал с миром. И шла слава о нем.

И вот однажды, как гром среди ясного неба, вышла в свет книга великого писателя, первая в мире книга о рабочем классе. Понял тут русский народ, какую непоправимую обиду нанес он великому писателю, и стал народ волноваться.

Прочел царь эту книгу и понял, что пришел ему конец. Послал он тогда на Капри агента 3-го отделения. Приехал агент и говорит великому русскому писателю: «Послал меня сам царь. Бери, писатель, всю власть на Руси и только одному царю

подчиняйся. И народ сделаешь счастливым и сам будешь у власти». Отвечал великий русский писатель: «Не хочу я с властью к народу. Хочу, чтобы он сам ко мне с любовью пришел». И уехал агент ни с чем.

Еще пуще волнуется народ. Посылает тогда царь второго агента 3-го отделения на Капри. Приехал агент и говорит великому русскому писателю: «Послал меня сам царь. Голодает народ. Бери, писатель, всю власть на Руси, накорми народ и только одному царю подчиняйся». Отвечал великий русский писатель: «Не хочу я хлебом заманивать народ. Хочу, чтобы он сам ко мне с любовью пришел». И уехал агент ни с чем.

Еще пуще волнуется народ. И приезжает к великому писателю депутация рабочих и говорит: «Мы обидели тебя, но теперь все поняли. Веди нас, писатель, сотворим мы небывалое, до сей поры небывшее в мире. Становись во главе». Отвечает писатель: «Добро. Сейчас, только соберусь».

Приехал он в Россию и повел народ на штурм Зимнего, оплот самодержавия. Пушки кругом палят, пулеметы строчат; орудия бьют, бомбы рвутся, ад крошечный, но взял писатель Зимний. И, поразительная деталь, ни один из его людей не был убит, ни даже ранен.

И установилась советская власть. Настало счастье, все ходят по улице сытые, довольные, улыбаются. Идет писатель погулять, а ему все кланяются, благодарят, желают долгих лет жизни.

Но не успокоились враги, и подослали к великому русскому писателю шпионов под видом врачей. Убедили враги народа, что писателю лечиться надо. И до того любит народ писателя, что поверил врагам-врачам. И вот они насмерть залечили совершенно здорового великого русского писателя.

Когда узнал про это народ, то на клочки разорвал врачей-шпионов и других врагов, которых удалось обнаружить.

Но благодаря смерти великого русского писателя только усилилась советская власть. Понял народ, какое великое счастье им готовит писатель, коли так боятся его враги. И все до единого стали за советскую власть.

Так великий русский писатель и самую свою смертью врагов поправил.

ДВАДЦАТЬ РАССКАЗОВ О СТАЛИНЕ

1.

В детстве Иосиф Виссарионович тяжело болел и лет до 14 не ходил. Но благодаря силе воли и постоянным тренировкам

он через полгода поднимал многопудовые гири. Однажды выходит он на улицу и видит, как здоровый детина избивает малыша. Сталин отогнал обидчика. Тот говорит: «Правда, силен ты». Посмотрел Сталин на него внимательно, посерьезнел и отвечает: «Не я, правда сильна».

2.

Совсем стало плохо жить народу. Однажды приезжает к Иосифу Виссарионовичу Ленин и говорит: «Что делать?» Посмотрел Сталин на него внимательно, посерьезнел и отвечает: «Что делать? — Делать!»

3.

Однажды поднял Иосиф Виссарионович народ и скинул царя. Наступило счастье. Приходит к Сталину великий князь Константин и говорит: «Мы предлагаем мир». Посмотрел Сталин на него внимательно, устало улыбнулся и отвечает: «Мир нам ни к чему, нам и России хватит».

4.

Однажды въезжает Иосиф Виссарионович на танке в Берлин. Кругом взрывы, снаряды рвутся. Навстречу немец бежит, узнал Сталина и кричит: «Сталин идет! Господи, помилуй меня!» Посмотрел Сталин на него внимательно, устало улыбнулся и отвечает: «Бог-то тебя не помилует, не заслужил. А Сталин помилует». И велел отпустить немца.

5.

Однажды идет Иосиф Виссарионович по госпиталю и видит на постели худого израненного солдата, который говорит соседу: «Сталин — наша сила!» Посмотрел Сталин на него внимательно, посерьезнел и отвечает: «Если Сталин ваша сила — вот он я. Вставай и иди». Встал солдат, взял винтовку и пошел.

6.

Однажды, вернувшись из похода, слезает Иосиф Виссарионович с коня, вытирает шашку о полу шинели. Подбегает к нему Анка-пулеметчица и кричит: «Белого притаранили!» Посмотрел Сталин на нее внимательно, посерьезнел и отвечает: «Ах, Анка, Анка, сколько раз я тебе говорил, что нет такого слова: таранить. Надо уважать великий русский язык».

7.

Иосиф Виссарионович был гигантского роста, он даже как-то стеснялся своих огромных рук. Однажды входит он в комнату, а там сидят Троцкий, Зиновьев и Бухарин, тоже здоровенные мужчины, и подковы гнут. Сталин разорвал ее на две части и выбросил. Потом посмотрел на них внимательно, посерьезнел и отвечает: «Работой надо силу мерить».

8.

Однажды работал Иосиф Виссарионович всю ночь и придумал план разгрома фашистских орд. Приходит он домой, а ему сообщают, что жена умерла. Посмотрел Сталин внимательно на труп жены, посерьезнел и отвечает: «Человек побеждает в великом, а жизнь мстит ему в мелочах».

9.

Однажды приходят к Иосифу Виссарионовичу Троцкий, Зиновьев и Бухарин и говорят: «Тебе пора уходить». Открыл Сталин окно, а там народ кричит: «Сталин! Сталин!» Посмотрел Сталин на них внимательно, посерьезнел и отвечает: «Я ухожу к ним, к народу». И ушел из Кремля.

10.

Совсем плохо стало жить народу. Однажды приходят к Иосифу Виссарионовичу представители и говорят: «Вернитесь, мы повесили Троцкого, Зиновьева и Бухарина. Они были неправы». Посмотрел Сталин на них внимательно, посерьезнел и отвечает: «А повесили вы их зря... Как же они теперь узнают, что были неправы?»

11.

Однажды идет Иосиф Виссарионович по передовой. Маршалы, герои, орденосцы за ним не поспевают. Подбегает к Сталину солдат и говорит: «Вы под снаряд попасть можете». Посмотрел Сталин на него внимательно, устало улыбнулся и отвечает: «Могу, но не хочу».

12.

Любимой песней Иосифа Виссарионовича была «Вот умру я, умру». Однажды Радек запел ее в присутствии Сталина.

Сталин спрашивает его: «А вы выполнили мое поручение?» — «Нет». Посмотрел Сталин на него внимательно, посерьезнел и отвечает: «Право на песню надо заслужить».

13.

Идет однажды заседание Верховного Совета, обеих палат сразу. Депутаты сидят, знаменитые люди, герои. А Иосиф Виссарионович входит через черный ход. Подбегает к нему Ворошилов и говорит: «Нас же важные дела ждут». Посмотрел Сталин на него внимательно, посерьезнел и отвечает: «А вам повезло, вас дела ждут. Я вот важного дела сам всю жизнь жду».

14.

Однажды в присутствии Иосифа Виссарионовича зашел разговор о Пушкине. Буденный сказал: «После Сталина мне стал понятнее Пушкин». Посмотрел Сталин на него внимательно, устало улыбнулся и отвечает: «Но и Сталина без Пушкина не понять».

15.

Однажды дождливым вечером идет Иосиф Виссарионович и видит старика, без плаща, насквозь мокрого. Снял Сталин с себя плащ и накинул на старика. Старик спрашивает Сталина: «Эй, товарищ, кем будешь?» Посмотрел Сталин на него внимательно, посерьезнел и отвечает: «Если смогу вот так всем людям помочь — человеком буду».

16.

Однажды привели к Иосифу Виссарионовичу его сына и сказали, что он украл кошелек у бедной женщины. «Ничего, — успокаивает Берия. — Мы кошелек уже вернули». Посмотрел Сталин на него внимательно, посерьезнел и отвечает: «Кошелек-то вы вернули, но сына мне уже не вернете». И на месте сам расстрелял его.

17.

Однажды заработался Иосиф Виссарионович в Кремле до поздней ночи. Позвонил он жене и говорит: «Давай, погуляем». Гуляют они, и жена говорит: «Что же ты так себя мучаешь?»

Отдохнул бы. О детях бы позаботился». Посмотрел Сталин на нее внимательно, посерьезнел и отвечает: «А я о детях и забочусь».

18.

Однажды гулял Иосиф Виссарионович по Красной площади. Подбегает к нему малыш и просит: «Дяденька, почини велосипед». Посмотрел Сталин на него внимательно, устало улыбнулся и починил велосипед. Малыш говорит: «Приходи завтра сюда, я тебя с мамой познакомлю, она у меня добрая». Посмотрел Сталин на него внимательно, посерьезнел и отвечает: «Не могу, малыш, помирать мне настала пора». И на следующий день умер.

19.

Однажды захватили американцы предательским путем огромное множество русского народа. И условие поставили: если не выдадите Сталина, всех перережем. Жданов говорит Иосифу Виссарионовичу: «Не ходите, они вам готовят позорную смерть». Посмотрел Сталин на него внимательно, посерьезнел и отвечает: «Не смерть красит человека, а человек смерть». И на следующий день увезли его в Америку и там умертвили, а народ выпустили.

20.

Однажды прошел слух о смерти Иосифа Виссарионовича. Пришла к нему депутация и обрадовалась, увидев его живым. И говорит: «Мы бы жизнь отдали, только бы вы жили». Посмотрел Сталин на них внимательно, устало улыбнулся и отвечает: «И я вам свою жизнь отдаю».

ДСП

Его казнили.

Когда-то он тоже был ребенком. Прокурор говорил, что никогда не поверит в это. Прокурора трясло, он выходил из кабинета в туалет и жадно пил воду из-под крана. На допросах, особенно в начале следствия, обвиняемый упорно настаивал, что дети здесь ни при чем, что это ошибка. Но его кривая улыбочка как будто убеждала судей в обратном. В конце же он почему-то резко изменил свое поведение и цинично признался, что его целью были только дети. На допросах младшая сестра обвиняемого (ее привезли в закрытой машине, чтобы спасти от толпы) рыдала и говорила, что не может поверить в то, что произошло, что маленьким он любил ей рассказывать сказки, он рассказывал чудесные сказки: про старушку, которая жила в световой нитке, а потом стала звездой; про доброго червяка, который любил прикидываться колбасой и завертываться в газету; про вывернувшегося наизнанку человека, который пил время, и кровь которого превращалась в деньги. Уже в этом защита, руководствуясь новейшими формулами психоанализа, пыталась усмотреть признаки душевной болезни, но судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила «вменяемость лица в отношении инкриминируемого ему деяния».

В последнем слове обвиняемый сказал, что знал о своей смертной казни задолго до этого дня. Ребенком он («не смейте произносить это слово!» — стучал кулаком прокурор), ребенком он любил представлять себе, как расстреливают, слезы текли тогда по его лицу (теперь же он улыбался), он думал, что расстреливают непременно из длинного ружья специальной ртутной иглой, а теперь у него лишь один интерес в жизни, как это произойдет на самом деле. В последнем слове он по-прежнему упорно называл себя естествоиспытателем, а не террористом. Когда приговоренного уже выводили из зала, он неожиданно дернулся к конвоиру. Широко раскрытые зрачки: «Лучше бы я сошел с ума!»

Как реально происходила процедура исполнения приговора и где, никто не знает. Из заметки в газете от 8 января 198...

года следует лишь, что приговор приведен в исполнение. Рассказывали, однако, что в «пересылке» он хотел покончить жизнь самоубийством: он пытался удариться виском о выступ железной дверной петли — случай в судебной практике довольно редкий. Когда потом ему привели в качестве цитаты его же собственные слова на заключительном заседании суда о последнем интересе, он удивился, мол, разве вы не знаете, что правила игры меняются в процессе самой игры. Еще рассказывали, что в первые три часа после ареста, которые обвиняемый провел в общей камере, он развлекался тем, что плевал в лицо бывшего директора одной из плодоовощных баз, которого взяли за хищение нескольких сотен тысяч, называя последнего маленькой гадкой картошкой.

В первый день нового года резко похолодало. Грязь во дворе стала как железная. Прохожие спотыкались. Дети пытались ее отвалить, отодрать от асфальта и не смогли. Назавтра должны были привезти новый черный асфальт. Дети уже договорились снова лепить черные асфальтовые снежки, и вдруг пошел настоящий белый пушистый снег.

Они рвали на себе волосы. Они кричали. Они скользили и падали, словно лошади, словно табун искалеченных лошадей — молодые и старые, жены, вдовы, незамужние и те, чьи дети так ужасно погибли неделю назад. Они вырвались из Столешникова, смяли выходявших из магазина «Меха», было два часа дня, время начала обеда. По инерции некоторые пробежали наверх к Моссовету, но масса повернула направо к зданию прокуратуры. Вначале они еще пытались организованно скандировать: «Смерть маньякам! Защитите наших детей!» Но вскоре вопли и обмороки, плач и вой поглотили членораздельные слова. Они стали визжать. Они визжали стихийно на одной ноте. Сирены подоспевшего милицейского автомобиля и мегафонных команд не было слышно. Искаженные, расцарапанные лица, кровавая губная помада. Визг поглотил и переменил все. Казалось, что стоит мертвая тишина, что все происходит словно в немом фильме. И эти первые, раздавленные о железный щит выдвигных ворот; и эти последние (когда толпа качнулась назад), разрубленные толстыми стеклами разбитых витрин, изрезанные тонкими осколками выбитых окон нижних этажей. Их развозили в новых длинных фургонах «скорой помощи».

...и Оля, она видела — алая кровь струится из ее торчащей артерии. Холод. Пар над кровью. К ней еще не подошли. Казалось, кровь дергается, повторяя движения ее разорванной

аорты. Она сделала усилие и тяжело повернулась на бок. Кровь стыла. Она ясно увидела, как отражение в ночном стекле, лицо сына Кости. Умирая, она смотрела на отражение своего лица в собственной крови. Последнее, что она видела, было лицо ее так ужасно погибшего неделю назад сына.

Пушкинскую перед прокуратурой мыли потом пожарные какой-то желтоватой пеной. Шурша, она покрыла сразу все. Дулись большие добродушные пузыри. Очень большие ленивые пузыри. Лопались. Надувались снова, словно удивляясь. Пена шуршала. Когда ее смыли, стало чисто, только кое-где зацепились за камешки волосинки.

— Ну что я могу вам сказать? Я действительно с ним учился... с этим человеком. Не знаю, можно ли это чудовище, эту гадость человеком называть.

— Вы извините. Мы вас прекрасно понимаем, ваши чувства, но нам нужны только факты. Это ведь расследование, понимаете? Пожалуйста, пообъективнее. Даже попробуйте как бы его защищать, найти в себе силы. Поймите, так надо для следствия.

— Защищать?!

— Ближе к делу.

Пауза.

— Ну, всегда он нетерпеливый какой-то был. Все бы ему ответ угадать и не делать ничего. Самое главное — не делать ничего, не то чтобы он лентяй был, нет. И талант в нем, способности, безусловно, были незаурядные. Как бы это вам объяснить... Вот иногда дадут нам на семинаре задачу. Ну ясно, что там потрудиться надо, посчитать и будет ответ. А он — вот нет, и все. Начнет какую-нибудь теорему выдумывать, из которой ответ как частный случай следовал бы. А то и вовсе семинары пропускал.

— Пропускал?

— Ну, по уважительной, разумеется, причине. Он ведь большую общественную работу вроде бы вел. Он и в комитете комсомола был, и в профбюро, и в студкомиссии по общежитию. Мы диву давались — откуда столько энергии, хотя разговоры-то легче, наверное, разговаривать, чем задачи решать.

— А друзья были у него?

— Ну, я бы не сказал, что друзья, так — сателлиты. Он вообще-то активный был. Другим любил рот затыкать. С ним начнешь спорить, а он один никогда не спорит, только когда сателлиты рядом. Так вот, начнешь доказывать что-нибудь, а он в глаза тебе с улыбочкой: «Молчи, молчи, молчи». Вроде и в шутку, а все равно обидно. Ну не по морде же бить. А когда

один на один, то приветливый вроде. И еще любил всех на «вы», по имени и отчеству называть, и манера разговора такая официальная, в шутку, конечно, как бы игра, а в то же время, когда кого в студком вызывали — тем же тоном и разносил. А они, сателлиты, его эту манеру обожали. И все как один: «Олег Борисович, что вы себе позволяете? Игорь Васильевич, какое вы имеете право! Константин Александрович, вы не уважаете авторитеты!» Заладят одно и то же, постоянно репрессия какая-то в тоне. Вроде и шутки, а противно.

— Скажите, а патологии в его поведении вы никогда никакой не замечали? Не приставал ли он к товарищам с непристойностями или к детям на улице?

— Да нет вроде. Нервный, правда, был, ничего ему не скажи. Не то, чтобы шуток не понимал, а по отношению к себе не терпел. Нередко ему казалось, что его унижают. Улыбочка у него, правда, кривая была. Говорит если и о серьезных вещах, а улыбочка все равно кривая, как будто издевается над вами в душе. Но, может, это свойство лица такое, потому что всегда у него улыбочка эта. Он, может, и сам не рад был, потому что преподаватели часто ему за эту улыбочку высказывали.

— Ну, а случаев никаких особенных не припомните?

— Случаев? Да нет вроде... А, нет, помню, один раз я на семинар по геометрии коробку с искусственными глазами принес, коллекцию свою показать. У меня мама на опытном заводе работала, такой еще в Одессе есть. Я сам одно время там стеклодувом подрабатывал, их ведь вручную выдувают. Делают — не отличишь, был случай...

— Ближе к делу.

— Да, вот принес я, значит, эту коробку, стал ребятам показывать, они — мерить, смеяться, а он вдруг выхватил у меня эту коробку и в окно раскрытое выбросил. С пятого этажа, почти все побилось. Странно как-то, всегда вроде правильный такой, и вдруг... Вот тогда я его чуть не избил. Он потом извинялся. А про детей никогда, ничего.

— А как он объяснил тогда свой поступок?

— Да никак. Опять какая-то болтовня. Меня же в патологии обвинял. Я его чуть не избил...

— Скажите, а что это за история, почему он ушел так внезапно за месяц до защиты диплома.

— Да не знаю я ничего. Темная какая-то история. Я ведь тот год пропустил, «академ» брал. Говорят, будто украл он что-то у профессора у своего, у научного руководителя. Тот в больнице лежал, саркома или что-то в этом роде, короче, приговорен был, ну а этот тип, когда домой к профессору за лекарствами приезжал, какую-то рукопись у него со стола

и взял. Хотел опубликовать, маленький себе «Тулончик» устроить, а профессор-то — выжил. Зачем взял — непонятно. Сам ведь на дипломе интересный результат получил.

Снег. Снег. Мальчик стоял один под фонарем и дышал. Вечер. Мальчик и фонарь. Фонарь поднимается чуть выше, а он — за ним. Мальчик стоял под пушистой мерцающей лампой. Он не знал — любит ли он снег или нет. О дожде он не помнил. Ему просто хорошо стоять на асфальте. Снег.

Мальчик выбежал из раздевалки один. Там было жарко. Они духарились. Толька Мурилкин даже написал в комбинезон, так смеялся. А он, а он... А он вырвался и побежал. Что он, не знает, где дом? Дом там. Он выбежал, и снег был. Сначала он бегал и не различал его. Просто в белом бегал. А потом вдруг увидел снег близко, у самого лица, и остановился, замер. Снег.

— Костя! Костя! Мерзкий мальчишка, опять один побежал? Вот, погоди, дядька чужой тебя заберет,— мама Оля приближалась быстрыми пружинистыми шагами. Он задрожал, готовый опять побежать, словно клубы пара и смеха из раздевалки вновь овладели им, но мама Оля успела крепко ухватить сына за воротник.

— Послезавтра ты выступаешь на празднике,— она радостно улыбалась.

— Не буду! Опять стихи? Не буду! — Костя стал вырываться. Был снег, надо было бежать, а тут вдруг заставят учить.

— Дурачок, не будешь ты учить никакие стихи, успокойся. Это такой праздник, где ты будешь делать что хочешь. Бегать, прыгать, только смотри, в оркестровую яму не свались. На сцене будет много воздушных шаров. Ты можешь хватать их, играть в них вместе с другими детишками. Если завтра будешь себя хорошо вести, я даже дам тебе кнопку и ты сможешь их прокалывать, они будут лопаться. Это очень интересно, очень. Представляешь?

— Ага. Лучше иглу, мам.

Мама Оля смеялась. И это было тоже, как снег. Ее смех был, как снег, это у папы был смех, как дождь. Папу не помнил.

— Знаешь, как называется такой праздник? — низко наклонилась мама Оля, ей было радостно и от того, что на поднятое к ней лицо сына оседают, исчезая, снежинки.

— Не-а,— Костя заворуженно смотрел на нее.

— Хэппенинг,— мама Оля звонко рассмеялась и поцеловала мокрое от растаявших снежинок лицо сына.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, садитесь. Вот, подвину сейчас чуток.

— Я по этому делу.

— Да я понимаю, батюшка, догадалась. Ирода этого проклятого самого надо на куски разорвать, ему бы...

— Нам нужны факты, бабушка. Это расследование, понимаете? Что вы можете сказать о нем, о его семье, об обстановке, в которой он воспитывался? Постарайтесь как можно объективнее, без ругательств. Его обязательно расстреляют.

— Его мало...

— Бабушка, у нас времени нет, потом.

Пауза.

— Вы присаживайтесь, кхе-кхе, шапку снимите. Сейчас скажу... А ведь он мог бы добрым человеком стать, он сестренке такие сказки рассказывал. Это его отец замучил. Тот натурщиком работал, и жена его натурщицей была, голая перед мазилами перед этими раздевалась, зараза. Они к ним и в комнату приходили, художники эти... Правда, не пили. Рисовали только. Вежливые, ничего не скажу. Но эта — срамница!

Вы в кладовку загляните, там от них костыли остались, подпорки, веревки. Помню, встанут они в эти подпорки, под плечо, под локоть, под колено, как будто бегут, он с женой, оба голые, рефлектор, правда, горел, и еще улыбаются, разве что под улыбку подпорок этих нет. «Навстречу светлому будущему» — картина эта называлась. Известный один художник рисовал. И мальчонку туда же, в костыли эти, в леса. Он кричит: «Не хочу, папа, устал, пусти, ножки ломит, ручка немеет». А тот ему: «Стой, говорит, еще три минуты...» Деньги, правда, они огромные загребали... Вот так и рос он. Другие хоть на асфальте, да режутся. А этот не то что от почвы, от самого себя оторван был. Все его то отличника, получившего пятерку, заставляют изображать, парту даже специально купили, то с салютом, с пионерским, до потери сознания стоял, а один раз с крестом. Ему отец говорил: «Считай про себя, долго считай, как до шестисот досчитаешь, так — перерыв». А раз мазила один сказал, глаза, мол, у мальчика не те. Папаша сразу засуетился: «Подождите, не уходите». Ну и ленту белую они ему на глаза повязали, а на ней тот мазила другие глаза нарисовал. Я в милицию даже хотела звонить. А у русского, знаете, как? Терпится, терпится, как молоко на плите, подбирается незаметно, а вдруг и заливает все, и сам огонь иногда аж.

Пауза.

— А еще что-нибудь можете сказать? О нем о самом?

Пауза.

— Изверг он! Убивец! Как такое можно?! Ненавижу его! Сама бы его костылями тогда забила, если б знала. Мало ему

было, надо, чтоб всю жизнь веревками связанный сидел. Войны на них не было!

— Тише, тише.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Я по этому делу.

— По какому по этому? Что вы имеете в виду?

— Вот мое удостоверение. А это — фотография человека, который нас интересует. Вы ведь знаете, гм, знали его?

Пауза.

— Нет, вы ошибаетесь, не знал я его. Проходите, пожалуйста, в комнату. Давайте повешу ваше пальто.

— Как не знали?

— Я, товарищ следователь, этого субъекта не знал, я был с ним знаком, это действительно так, я с ним когда-то учился, но близок с ним не был никогда.

— Правда? А нам сказали, что вы были чуть ли не его сателитом.

— Наглая ложь. Это, конечно же, Шаматаковский сказал. Занесите, пожалуйста, в протокол, что я с убийцей, с этой гнусной тварью, с подлым... антигуманным... античеловеческим, с сексуальным маньяком, возможно, агентом иностранной разведки...

— Как вы его, однако.

— Да, представьте себе, товарищ следователь...

— Вы не волнуйтесь. Мы же вас не в соучастники зачисляем.

— Да кто же знает? Ведь вы же ко всем сейчас ходите. Всех вызываете.

— Успокойтесь. Вы такой молодой, а уже такой нервный.

— Я просто хочу сказать...

— Успокойтесь. Следствием и экспертизой достаточно достоверно установлено, что, как ни странно, он был абсолютно один и сделал это все сам.

— Неужели? Вы как будто хотите меня этим приемом взять. Какое вы имеете право? У нас сейчас гласность! Я, несмотря на молодость, представляю собой ответственное лицо, я...

— Да успокойтесь же. Сядьте. Мы бы вас вызвали повесткой, если что. Это расследование другого рода. Дело уже закрывается, а вас даже свидетелем в суд не вызывали. Как вы не понимаете? Нам нужно вскрыть социальные корни преступления. Это ведь странно, что он был совершенно один.

— А как же анонимные звонки с угрозами и подброшенные

в детские сады письма? Ведь в газете писали? Вы должны обеспечить нам безопасность!

— Звонили, по-видимому, с одного телефона. А письма напечатаны на двух машинках, обе найдены в его квартире. И подброшены они не в детские сады, здесь журналист ошибся, и он нам этим сильно навредил, я имею в виду события на Пушкинской. Но это уже наше дело. Вы мне лучше вот на какой вопрос ответьте. Тогда, после той истории со своим научным руководителем, после того, как бросил институт, не раскаивался ли он?

— Раскаивался?!

— Да. Не раскаивался ли он в своем поступке? Вы один можете ответить на этот вопрос. Подумайте. Только откровенно и объективно, без ругани.

Пауза.

— Но... но, я не знаю, он ничего не говорил мне об этом.

— Хорошо... А как вы думаете, мог ли он раскаиваться?

— Ну... ну... ну, как вам сказать... я думаю, мог бы.

— А как вы думаете, простили бы его?

Пауза.

— Мм-м.

— Говорят, что он талантлив был и активен, его хотели оставить на освобожденной должности, как и вас.

— Извините, не понимаю, куда вы клоните. Я ведь к этому делу отношения не имел. Так только, понаслышке. А потом он исчез, как в воду канул, я его не видел с тех пор, вот уже пять лет.

Пауза.

— Ну, раз не имели, значит, не имели. Всего хорошего. До свидания. Да, извините, еще вопрос. Никакой патологии в отношении детей вы не замечали за ним... когда были знакомы?

— Нет.

— И последний вопрос. Вы, Олег Борисович, ведь были в тот вечер в Доме культуры. Вы не встретили его?

— Я?

— Вы.

Пауза.

— Н-нет.

А в ванне наливается горячая вода. Снег за окном, а в ванне — горячая вода. Смешно. Была старая вода, а теперь наливается новая. Он прижался к маме Оле, она что-то стирала в тазу и пела, а он смотрел, как старая вода в ванне вдруг закрутилась, он видел, закрутилась и прогнулась, провалилась в

одном месте и там стала дырка. Костя хотел потрогать эту дырку, он даже опустил палец, действительно — дырка, и вдруг ванна хрюкнула, старая вода исчезла. Лицо — в мамино платье, обнять мамину ногу, спрятаться. Мама Оля рассмеялась: «Испугался, дурашка?» А он уже побежал в комнату включать свет. Налетит новая вода, мама Оля придет в комнату, а свет уже готов, он светит, а пока можно поваляться на полу, все равно мыться в ванне.

— Костя, Костя, опять ты валяешься? Рубашку всего два дня носил.

— Хэппенинг! Хэппенинг! Новая вода-а-а!

Розовое лицо мамы Оли. Она хохочет. Она вытирается махровым полотенцем, в ванне жарко, а в комнате прохладно. Она смотрит на его кувырки, кульбиты — эта маленькая свиношка, доксик, резвящаяся пупырчатая буньбунька. Мама Оля высоко подпрыгивает, развеваются полы голубого халата, обнажая длинные стройные ноги. В прыжке она подгибает ноги под себя. Победный радостный крик. Вместе катятся под диван, барахтаются, хохочут. Его маленькое вырывающееся тельце. Мелькает: «Ух ты, сильный». А он, а он уже борется с напавшей на него тигрицей, он напускает на нее щеко́тку. Уу-у! Уу-у! Жалобное мяуканье, тьякканье. Опрокинут торшер. Ну и что. Смех и разбитая лампочка. Хэппенинг. Как хорошо. Не тигрица уже, а лошадка. Н-но, пошла, н-но!

— Все, а теперь раздеваться и в ванну. Быстро, марш!

— Ну мам, ну еще, ну пожалуйста, ну давай поиграем, ну давай. Завтра опять ведь в садик, — трется маленький теплый комочек, трется о ноги котенок, щеночек, буньбунька. Ну как тут откажешь. Она бросается на колени. Она целует его и ласкает. В губки, в маленький носик, в попку и в пале́чик. Это ее, ее родное. Жизнь. Нескончаемое начало. Она плачет, она смеется. Лижет его, как лошадка.

— Все! А теперь быстро, марш! Завтра не встанешь, а вечером еще праздник. Завтра вечером порезвишься. Костя, ну хватит же!

В ванне, он уже в ванне. Она трет его скрипучей мочалкой и снова намыливает. Только смеющиеся глазки видны из пены. И вдруг он спрашивает ее:

— Мама Оля, а правда войны никогда не будет? Она будет только в кино.

Он, маленький, голый, ключицы торчат, он держится за края ванны, чтобы не упасть, он оборачивается и смотрит на нее с испугом и с надеждой одновременно.

— Конечно, не будет, мир не допустит. Мир победит.

— Я так боюсь, когда по телевизору стреляют.

Мама Оля успокаивает и смывает, ее голос звенит
— Не бойся, дурашка, это же только кино.

— Здравствуйте. Вот мое удостоверение.

— Добрый день. Но я уже все написал, что мог. В прокуратуре сказали, что больше не будут вызывать.

— Не будут, поэтому я и пришел. Нас все же интересуют кое-какие детали, не в юридическом, а, так сказать, в психологическом, точнее, в социальном плане.

— Да он же у нас совсем мало проработал. Он, судя по трудовой, летун был, нигде не мог приспособиться, да, видно, и не хотел. Я все, что знал, сообщил уже.

— Ваше предприятие связано ведь с институтом, где учился этот человек?

— Ну, связано, я говорил уже об этом. Их выпускники и к нам на работу поступают. Потом, мы оборудование учебное им тоже поставляем.

— Скажите, а знакомых никаких он по институту не встретил у вас в отделе и вообще на предприятии не встречал, не знаете?

— Ну, у нас и не так много их, в нашем отделе почти нет. А потом, он замкнутый был, не то чтобы тихий, а замкнутый, в общественной жизни не участвовал. У нас товарищ один работает, он с ним не в институте, а в школе вместе учился. Вот вам надо с кем поговорить. Так я скажу, товарищ этот его не узнал. В школе, говорит, самый послушный, самый правильный был, в ЦК ВЛКСМ рапорты отвозить уполномочен был, и науками увлекался, собирался в университет поступать, все хотел теорему Ферма какого-то доказать, чтобы, как говорится, все сразу. А к нам пришел мрачный. Чувствуется, что науку эту ненавидит, она его достала, ха-ха, извините, в институте, как видно. Но в печенках-то сидит. Мы ему паяльник в руки — паяй, мол, и не думай ни о чем, а еще лучше — женись, ха-ха. Поначалу дотемна заставляли паять, ну, как всех новеньких, которые не могут, ха-ха.

— Посерьезней, пожалуйста.

— Да-да. А он вот печенками Ферма эту и жует. Обедать с нами не ходил, в домино не играл. Отложит паяльник и книжку из стола тянет.

— Книжку? По математике?

— Да, было и по математике по этой. Но наши ребята его враз раскусили, какой он к черту гений, он двузначного числа в уме складывать не мог, они засекли, как он микрокалькулятором пользовался, чуть драка не вышла, а он все равно читал.

— Математику?

— Да не только математику.

— А что еще?

— Ну, он художественную литературу вообще презирал. Вранье, говорил, это все, болтовня. Он философию все читал.

— Кто автор? Название помните?

— Я не помню.

— Постарайтесь. Это очень важно. Не Маркузе ли?

Пауза.

— Нет, не помню. Старая книга. На букву «ша», по-моему, автор.

— Может быть, вспомните потом, тогда обязательно сообщите.

— Хорошо.

— А не обсуждал он с товарищами прочитанное?

— Да я же говорю, замкнутый был, ни с кем — ничего. Так, в первый день только покалякал, а потом совсем в подполье ушел.

— Как это «в подполье»?

— Ну так, перестал со всеми общаться, и все. Я же говорю, шиз, сразу видно. Нормальный человек себе такое и подумать не посмеет, что он, гад...

— Скажите, а не было такого, чтобы деньги вдруг у него появились, вещи дорогие?

— Нет, всегда замусоленный ходил.

— И не ругался, не критиковал, никаких высказываний антисоветских не допускал?

— Да в том-то и дело, что нет. Другой поругает, душу отведет и снова за паяльник, потренируется так среди товарищей, смелости наберется, глядишь, и на собрании правду говорить начнет. А этот молчит, я же говорю, сексоманьяк.

— Почему сексоманьяк? Вы его с женщинами видели?

Пауза.

— Да нет вроде, не видел. Но ведь в газете писали — дети.

— А вы какую-нибудь патологию в отношении детей замечали? Хотя, какие тут у вас дети на предприятии. Но все же, случаи какие-нибудь странные, особенные; вот вы говорите — шиз, сексоманьяк.

Пауза.

— Однажды было дело, у него паяльник в руках взорвался, ну не совсем взорвался он, а перегрелся... короче, у него ожоги были, он на пол упал, желтый весь, и смеется, до истерики смеялся, а кожа на шее, вот здесь, где кадык, на глазах пузырится. А насчет математики этой, я вам скажу, наши ребята...

— А не пил он?

— Лучше б пил, сволочь.

— Я же просил.

— Да-да, извините. Был случай, кстати, он только пришел тогда к нам, новенький, ну его на картошку послали сразу с другими лаборантами. А их же там, знаете как, нагонят полно, а дела нет. Ну они и сбежали как-то с поля рыбу ловить. А их застукали, ну и наорали на них форменно, как это принято, там сам директор базы приезжал. Казалось бы, чего тут такого-то, все лучше, чем выговор с занесением, а то и желтый билет. Так вот вечером, ребята рассказывали, они поллитру решили купить, ну, чтоб горе свое залить. А он пить отказался, ушел в туалет и весь вечер рыбу там эту булыжником бил в раковине для мытья ног. Она, рыба эта, живая еще была.

Пауза.

— Больше ничего не припомните? И никаких конфликтов с начальством?

— Да нет, никогда, а все остальное я описал уже, вы же наверняка читали мои показания. Ясное дело — шиз. Один парень, правда, сказал, что этого типа по ночам проклятые вопросы мучили.

— Какие такие проклятые вопросы?

— Да я не знаю, от которых с ума сходят, про бога там что-то, во что верить, зачем жить. Я в этом не понимаю ничего, я свое дело делаю, у меня семья, профессия. Я свою дочку люблю, велосипед вот ей недавно купил.

Торжественный вечер, посвященный тридцатилетию связей между Предприятием и его дочерней организацией — учебным Институтом, выпускники которого работали на Предприятии, было назначено на среду. Решено было провести его в Доме культуры, за территорией. Должны были приехать крупные ученые, заведующие кафедрами, профессора, ведущие специалисты по производству железобетона, из которого возводят стены индустриальных гигантов и атомных электростанций, специалисты по производству ртути и аммиака. Должны были приехать представители комитета комсомола, парткома Института, других общественных организаций. Должны были прийти руководители подразделений Предприятия, заведующие лабораториями и отделами, рядовые инженеры и техники, представители общественных организаций, многие с флажками, выпущенными специально к юбилею. Готовились доклады. Собирались вручать вымпелы и награды победителям соцсоревнования в цехах. Корзины с цветами были уже заказаны на фабрике. В фойе, перед входом в актовЫй зал уже устанавливали столы для торговли бутербродами и напитками.

Готовилась к выступлению и агитбригада Предприятия. После торжественной части должен был состояться ее небольшой концерт, а потом, говорили, будет петь один известный артист. Оля Карпенко была назначена ответственной за самодеятельность. У них в общем-то была накатанная программа: два барда со своими песнями, сценка про экзамены в институте, монолог, балетный номер, кусок из оперы «Архимед», пародия на КВН, а в конце можно было повернуть капустник. Но все это гонялось из года в год, одно и то же, хоть и с разным содержанием, оскомину набило, а хотелось изюминки, нового чего-нибудь, современного, необычного, как в молодежном театре на Красной Пресне или на Таганке. Оля долго думала и ничего не могла придумать. «Навесить на сцену лианы и залезть на лианы? Да не поймут ничего, засмеют». И тут вдруг этот журнал, словечко «хэппенинг». Что это? Оля открыла тогда Энциклопедический словарь и прочла: «ХЭППЕНИНГ — непредвиденно происходящее, вид сценического действия, зародившийся в 1950-х гг. в США. Х. отличаются парадоксальностью и нарочитая бесцельность действия, отсутствие четкой формы, расчет на широкую импровизацию и зрительскую активность». «Конечно, конечно, — думала Оля, — надо устроить хэппенинг. Вот это будет здорово. Такого, наверное, еще никогда и никто не делал. Даже на Таганке и на Красной Пресне такого еще не было. Скорее, скорее, пока не обогнали». Она вдруг сама себе засмеялась: вот, замечталась, агитбригаду с Таганкой сравнила, да что они, не знают об этом, что ли. Взгляд ее тогда упал на маленького Костю, он что-то мастерил из конструктора у ее ног. «Конечно, конечно, надо выпустить на сцену детишек, много детишек, пусть делают, что хотят. И опять же — символика: молодое, свободное поколение». Какое-то мгновение она еще смотрела на Костю, мелькнуло: «Отца бы...». Но в следующий момент она уже бросилась лихорадочно обзванивать всех молодых родителей, с которыми была знакома на Предприятии.

Он знал, что его казнят. Но сначала казнит он. Он все же естествоиспытатель, и он сделает это, чтобы не сойти с ума. Он где-то прочел, в одной умной книге, что насилие излечивает от психических болезней. Он сделает это, чтобы не сойти с ума. Он сидел в кресле, близко придвинутом к самой стене. Ему нравилось сидеть прямо перед стеной, тупо уставившись в обойный зигзаг. Казалось, его кривая улыбка отражается в серой бумаге обоев. Один, совершенно один. С какой радостью он разможил бы себе сейчас голову об этот угол стены, чтобы в агонии вырвать из разбитого черепа месиво своего мозга и растоптать его, и дико, дико надругаться над ним. Нет. Это

было бы слишком просто. Он сделает кое-что другое. Недаром они научили его паять. Он посмотрел на черный потрепанный дипломат в углу. Он сделает это, чтобы не сойти с ума. Но сначала он станет чистым-чистым и прозрачным, как стекло. Он сожжет свои воспоминания, он заставит свое воображение сжечь свою память, память униженного существа. Он знает, что он не человек, но он существует, значит, он — существо. Через два дня он уедет в другой город, устроится котельщиком в дом отдыха, разрежет себе топором щеку или отрубит нос, и никто не узнает, что это он. Пока его найдут и казнят, пройдет еще двадцать лет, и эти двадцать лет он будет лежать на куче угля и смотреть на огонь. Он будет ходить в столовую и есть с отдыхающими, а потом вместе с ними на площадке он будет слушать юмористические рассказы из колокольчика, и будет точно так же корчиться, как эти отдыхающие, в специальных паузах, отведенных юмористом для смеха. Своим изуродованным лицом он будет корчить эту гримасу смеха, он, как и другие, будет при этом низко приседать, чтобы продемонстрировать, как глубоко он чувствует юмор. Это будет общение, он, наконец, станет, как все. Они — пожилые мужчины в черных костюмах с галстуками, их женщины — в жабо. И он — простой котельщик, с изуродованным («какая жалость!») лицом. А сейчас он станет прозрачным, как бабочка. Он вывернется наизнанку, он слишком долго прикидывался колбасой и завертывался в газету. Он выблует свою жизнь, хорошую и плохую. И еще, это уж проще простого, он сожжет эти листки, эти конспекты. Прямо здесь, на линолеуме, он поставит таз и сожжет эту папку под названием ДСП (для служебного пользования). И от него ничего не останется, для этого не надо кончать жизнь самоубийством. Надо просто стать прозрачным, как бабочка Sesiidae. Ведь это высшая степень мимикрии. Они будут смотреть на тебя и тебя не увидят, они увидят того, кто стоит за тобой, рядом с тобой. Ты не промолчишь, ты просто повторишь то, что скажут они или говорят в подобных обстоятельствах, и сделаешь те же жесты, теперь уже без подпорок и костылей.

Он взял и еще раз перечитал рецензию на свой труд «Терома Геделя и особенности формализации аналитических языков программирования», сорок шесть страниц. Он мог бы послать статью сразу в журнал. В конце концов, как бы ни издевался над ним начальник отдела («вот так надо держать паяльник! вот так! что ты вцепился в него, как свинья в морковь!»), акт экспертизы подписал бы. Но все же он сам предпочел послать в Институт вместе с письмом, в котором просил, в котором просил... Ведь прошло уже пять лет, и профессор умер в прошлом году. И эти пять лет. Он понял наконец:

писать формулы, промышлять, угадывать, вопросами нащупывать ответ — это прекрасно и так, это священо, и бросать свой дар под ноги самому себе, чтобы только оттолкнуться сильнее и выпрыгнуть, выпрыгнуть над курсом, над кафедрой, над факультетом, над Институтом и выше, где можно быть не как все,— это абсурдно. Не отталкиваться надо, а стоять. И они должны его простить. Позволить вернуться. Восстановиться на четвертом курсе или даже начать все сначала. Он пробовал и другие профессии, но он — математик. Пять лет не сломили его. Он сделал результат, он знает, что это первоклассный результат, и он его не украл, но дайте же смыть грязь. Он искупит свою вину. Потом он станет начальником, но небольшим, небольшим, чтобы только иметь право заниматься чистой наукой. Простите его!

В рецензии, присланной из Института, с кафедры математики, его статья откровенно называлась самой безграмотной белибердой с грубейшими ошибками на первых шагах доказательства. В конце рецензии было написано: «Несмотря на то, что автор, по-видимому, знаком с проблемами современной математики из популярной литературы, рецензент все же советует ему найти в себе мужество и не пробовать поступать в Институт, а заняться каким-нибудь земным, обычным делом». Подписано: кандидат физ.-мат. наук Акулькин О.Б., всего Вам доброго. Акулькин?! Олег Борисович?! Какое ты имеешь право? Ведь ты же ничтожество! Ты списывал у меня контрольные! Я помню, ты трогал концом ручки бородавку на носу и сдувал, сдувал, подлец!

И через полгода, буквально через полгода после рецензии, статья четырех соавторов (это в области аксиоматики-то, ха-ха!), и, конечно, под другим названием. Только почему же Акулькин, на букву «а», не первый? Постеснялся? Вряд ли. Просто в этом алфавите первая буква — другая. Но теперь не все ли равно? К черту, в огонь! И рецензию, и их статью. Это была всего лишь сказка, рассказанная самому себе. Так. Хорошо. Еще немного бензина. Задерни шторы, чтобы не было видно с улицы.

А это что? Ее письма. Чтобы стать прозрачным, нужно сжечь также и свою любовь. Он думал, что сжег свою любовь еще тогда, на первом курсе, когда оттолкнул ее от себя, уже беременную, когда выбрал свой путь, «путь человека, назначающего себе ценности». Но почему она возвращается? Почему он готов броситься за этими письмами в горящий бензин? Спокойно. Смотри, не мигая, на огонь. Смотри, как горит твоя любовь. Скоро ты станешь совсем прозрачным.

Кончиками пальцев, самыми подушечками, ты трогал ее тело

под одеялом. Ты сидел на краю постели в брюках и в болоньевой шуршащей куртке. Она натянула одеяло до самых глаз, она не отрываясь смотрела на тебя. Большие, детские еще глаза; и твоя рука, и ее тело, и еще красноватое пятнышко лампочки электрокамина. «Погладь меня по головке, мне страшно», — сказала она. Ты перебирал льняные прядки волос и молчал. И когда твоя рука случайно наткнулась на замочек сережки, расстегнула, и серебряная безделушка упала в твою ладонь, маленькая деталька, последняя ее защита, ты понял, что между ней и тобою нет больше ничего чужого. Ты разделся и лег. И лежал неподвижно, и она прижалась к тебе, как жена. Ты видел маленькую красноватую лампочку электрокамина. Ты слышал ветер за окном и дождь. А потом ты забыл обо всем. Ты был кентавр, пахарь, корабль, тонкая спица, красноватая лампочка, снова работа, сброшенное одеяло, моряк в огне, нежный мальчик, флаг, дождь за окном, победитель усталый. А потом, через два месяца ты оттолкнул ее ночью на пляже, она упала на песок, она рыдала, дергалась и была чем-то похожа на козу. Ты поднялся на мост и видел белое здание электростанции на том берегу, ты видел необычные треугольные отражения фонарей в воде с маленькими стрелками в вершинах, и ты еще усмехнулся — можно использовать как математические обозначения. Потом ты оглянулся на темноту пляжа. Там ничего не было видно. Казалось, что пляж ниже уровня воды. Что там яма. И ты повернулся и ушел.

— Мама Оля, мама Оля,— плакал маленький Костик. Мама Оля, запахнув халат, вошла в комнату сына. В темноте на ощупь она нашла его мокрое лицо, вытерла.

— Что ты не спишь, дурашка?

— Мама Оля, расскажи мне сказку. На меня давит темнота, я не могу заснуть.

— Костя, ну что ты, поздно уже, а ты все не спишь, я еще монолог должна повторить.

— Ну мам!

«Надо рассказать ему сказку, какую-нибудь скучную, занудную сказку, чтобы поскорее заснул». Вслух:

— Хорошо, слушай,— она начала, обволакивая его словами.— Давным-давно, когда не было еще ничего и никого: ни Кости, ни мамы Оли, ни машин, ни...

— Ни бабы Вали.

— Ни бабы Вали, ни дяди Коли,— повторяет она, затягивая.

— Ни снега,— зевает Костик.

— Не было ничего, ни земли, ни снега.

Костя шепчет:

— Ни фонаря. Дальше, мам.

Он лежит на маминой руке. Он смотрит на просвечивающий сквозь шторы фонарь. И мамина рука словно несет его в своей большой теплой ладони.

— И была только вода, одна вода, и плыла рыба, она плыла и плыла. В одну сторону, в другую, и везде вода.

Он закрывает глаза.

— И стало рыбе скучно, и захотела рыба спать, и поплыла рыба в Саргассово море, и заснула, и пока она спала, из нее выпадали маленькие красноватые икринки. И вывелись рыбки, много маленьких рыбок. И плавали они, плавали. И вода начала уходить, и появилась земля. Рыбы стали выпрыгивать на землю. И первые рыбы умирали, а другие, за ними, научились дышать и ходить.

Мама Оля поправляет одеяло и на цыпочках выходит из комнаты.

— И появилась земля,— шепчет Костя, словно что-то вдруг охватило, околдовало его.

Она оборачивается и шепчет:

— И мама Оля, и Костя.

Она готова заплакать. Она хочет сказать ему: «Спи». И не может. Он шепчет:

— И снег, и фонарь, и темнота.

Завороженная, она смотрит на сына. Он уже снова закрыл глаза, он шепчет:

— И светота.

Еще? Ближе к огню. Лицо его, пусть обгорит лицо, его кривая улыбка. Шурша, пусть вспыхнут волосы, пусть закипят и лопнут глаза. Нет, он неподвижен, только рука механически отправляет в огонь ее письма. Вот записка, короткая: она родила сына, три девятьсот, рост шестьдесят два, страшно кричала, просит прийти, она все простила, принести минеральной воды. К черту! В огонь! Чтобы стать прозрачным, как стекло. А это? Фотография отца в позе античного мыслителя. В огонь! А это? Сестренка, когда-то она была ему дороже всего на свете. В огонь! После него не останется ничего. Вот, наконец, и эти записки. Цитаты из его любимых философов: «И кого вы не научите летать, того научите быстрее падать». Выписки из газет: «ФРГ — РАФ (группа Баадер, — Майнхоф), в 1970 г. 17 человек (8 студентов, 2 журналиста, 2 юриста, фотограф, медсестра, парикмахер, автомеханик и несовершеннолетний правонарушитель)». А он? Он совершенно один. Выписки из газет: «РАФ — 100 покушений, 39—со смертельным исходом, 75 человек ранены при взрывах, многочисленные поджоги, ограбле-

ния сберкассы». А он? Он сделает это один раз. Выписки из газет: «Ульрика Майнхоф — в прошлом талантливая активная журналистка, судилась с самим Шмидтом (тогда он еще не был канцлером, а был министром обороны), покончила жизнь самоубийством в тюрьме; Андреас Баадер — рос, окруженный и избалованный женщинами (матерью, бабушкой, тетками). Не проявил никаких талантов и интереса к учебе, человек действия, лично проводил все акции, на суде цитировал Маркузе». А он? Раздавленный человек, не человек, существо. Но он сделает это, чтобы не сойти с ума. К черту! В огонь! Они чего-то хотели, эти «шили» (шикарные левые). Они во что-то верили. Быть может, провоцируя репрессии со стороны правительства, они хотели вызвать возмущение масс? А он? Кривая улыбочка вновь напозла, исказила лицо. Этот спазм всегда вызывал у него физическую боль. И он всегда вспоминал: «Улыбайся, как досчитаешь до трехсот — перерыв. Улыбайся, кому говорю!» А он? Он взял еще листок: «Я верю, что ни во что не верю, и тем не менее не могу сомневаться в том, что существую». Он сделает это, чтобы поверить в то, что он существует. Он сделает это, чтобы не сойти с ума. К черту, в огонь! А это? Таблица удельных весов динамитов разного состава. Больше не понадобится, в огонь. Это? Подметные письма с угрозами, он заготовил их неделю назад. Сжечь? Ну тогда уж заодно и этот старенький дипломат. Хе! Он усмехнулся. Нет, спектакль назначен на завтра, и он состоится. Только в этом спектакле будет небольшая вставка, без лицемерной болтовни, без обмана, ведь им и в самом деле не хватает «огня в сердцах». Заряд рассчитан только на сцену. А письма надо опустить в почтовый ящик уже сегодня. Дым наконец заставил его закашлять. Он встал и открыл окно. Сквозняк выхватил хлопья пепла и бросил ему в лицо.

Без десяти шесть. Он поставил стрелку на половину седьмого. Он видел: Дом культуры — двухэтажный, с колоннами, сталинских еще времен, желтого цвета, с большими гипсовыми вазами у начала ступенек, с фризом, на котором изображены фигурки ученых с огромными атомами в руках и еще пионеры в голубых шортах с горнами, Дом культуры по-прежнему светлел между деревьями. Подъехал автобус, «пазик», беленький с зеленой полосой. Из него высыпали дети. Высокая стройная девушка что-то им кричала и смеялась, хлопала в ладоши, другая поправляла детям шапочки, румяный молодой человек на ходу надувал шарики. Они построились парами перед дверью.

Тогда что-то толкнуло его, и он побёжал, спотыкаясь, через грязь. Он подбежал, когда дети уже проходили за тяжелую

массивную дверь. Высокая девушка держала за руку мальчика в ярком оранжевом комбинезоне, мальчик облизывал потрепавшиеся губы. Он подбежал совсем близко, так, что Оля Карпенко даже немного испугалась этого незнакомца в черном пальто и крепче сжала Костину руку.

— Подождите, пока пройдут дети,— строго сказала она, оттесняя его локтем в сторону.

— Подождите...— выдавил он.

Костя поднял голову, завязка больно впиалась в шею, он увидел прямо над собой искаженное кривое лицо незнакомца дядьки. Дядька открыл рот и, казалось, хотел еще что-то сказать. Но так и стоял с открытым ртом, и у него что-то шуршало в карманах. «На улице холодно, чего он вспотел? Страшный какой-то»,— Костя рванулся, увлекая за собой маму вдоль медленно закрывающейся тяжелой двери, чтобы успеть проскочить, пока она не закроется. Пока этот дядька не схватил.

Он застыл. Он хотел было броситься вслед за ними, но это «подождите» словно парализовало его. «Ты просто повторяешь то, что скажут другие и сделаешь те же жесты». Массивная дверь снова открывалась. Выходили люди с портфелями, без шарфов, виднелись накрахмаленные воротники с галстуками.

— Отойдите, вам говорят! Вы что, не видите, ректор Института.

— Олег Борисович, а что во втором отделении?

— Да обычный концерт.

— А где мы сидели, где сцена?

— Вот здесь, на втором этаже, прямо над входной дверью.

— Как интересно, люблю сидеть над входом.

— Валерий Александрович, ваша «Волга» направо, первая.

Они спустились по ступенькам. Он стоял, растрепанный, у колонны и смотрел, как неторопливо переговариваясь, они рассаживаются по машинам: Отъехала первая, за ней вторая, третья... Только выхлопной газ, напитанный сыростью, еще медленно оседал и расползался.

Сверху что-то ударило, треснуло. Яркий блеск, отсвет в белой стене дома напротив. Дрогнули, дернулись каменные плиты ступенек. Полетели, совсем без звона, с каким-то странным скрежетом стекла. Посыпалась песком желтая краска, пластами разорванная штукатурка с фриза, нарисованная детская рука с горном, кусок с голубыми шортами, в пилотке разбитая голова. Повалилась навзничь, раскололась, обнажая кривую черную землю, гипсовая ваза. Что-то огромное, ужасное, мокрое толкнуло его в черную спину, бросая на ступеньки; вынося вверх над ним несколько удлиненных воздушных шаров, ударило в белую стену, загрохотало дальше.

Его казнят. Длинные ртутные иглы проскальзывают, прокалывают, разрывают его. Дети, его казнят дети. Лопаются шары. Этот мальчик с потрескавшимися губами. Этот мальчик, его широко раскрытые глаза. Длинные специальные иглы. Его казнят дети. Он срывает свое черное пальто. Он кричит: «Это ошибка! Я хотел...». Он бросается к люку за левой кулисой сцены. И в темноте, задыхаясь от пыли сваленных в кучу декораций, пытается нащупать тяжелый тикающий дипломат. Нет. Он застыл. Он здесь, на ступеньках, лежит, закрыв голову руками.

ДЕЛО НЕ В ЭТОМ!

О чем он? Эти картинки, которые он представляет. Да, он по-прежнему видит всего лишь картинки, так сказать, иллюстрации к тексту. Когда-то, уходя на работу, мать оставляла его на диване, обкладывая книжками, он еще не умел читать, и все, что ему оставалось, это перелистывать страницы, полные непонятных знаков, в надежде найти разгадку того, что шурша протекало под его пальцами. Иллюстрации к тексту. А теперь, спустя почти сорок лет, он снова лежит на диване, слушая гул далекой электрички. Теперь, чтобы видеть, он закрывает глаза.

198... Плотина. Узкая дорожка, отделяющая ревуший водоброс от лениво подскользывающей к падению водяной массы, пена низвергающихся струй и незаметное подплывание огромной беспечной поверхности. Узкая зацементированная дорожка, выщербленная в двух местах до красного мяса кирпича. Если он сделает это, то он выиграет. Анна, конечно, не верит, она думает, что все это шутки. А он тем временем ослабляет гайки на оси переднего колеса, отвинчивает крепление рулевой колонки. Езда на неисправном мотоцикле. Ослабляет цепь. Он делает это умело и про себя усмехается, как будто только этим он и занимался всю свою жизнь. А может, так оно и есть? Но ведь он делает это, чтобы победить. На той стороне, где начинается хорошо заасфальтированное шоссе, он снова подтянет крепеж. Он сделает это быстро, и у него останется время проследить за фигуркой Анны в темном пальто, пока она будет медленно обходить амфитеатр гидросооружения, пока он не увидит очень близко ее глаза.

Так о чем это он?

Он не любит вспоминать, как другие. «А помнишь...» Нет, он не помнит. Он никогда никому не рассказывал, что происходило с ним на самом деле. Что это — предрассудок или тайная мудрость? Но ведь так можно быть свободным от мнения окружающих тебя людей. Даже если это друзья. Например, шумный стол, анекдоты. «А помнишь...» Он тоже делает вид, что слушает, и вдруг — словно щелчок выключателя: гаснут лица и разговоры. Он остается один посреди всех, он не стесняется своей обособленности. Во время госта в честь хозяина дома он наклоняется над тарелкой и ест. Очень спокойно ест.

Анна. Почему именно ей надо было доказать, что он другой? Да, они разговаривали тогда и о философии. Ему нравилось побеждать ее в споре. Он был холоднее, расчетливее, чем она. Они часто говорили об иллюзии смерти и о жизни в свете этой иллюзии. Этот чужой мотоцикл тогда на плотине. Ее глаза. Он выиграл?

А сейчас? Диван. Ему хочется встать, но он закрывает глаза. Сколько ему лет? Тридцать восемь. Как его зовут? Вчера в кафе его случайно назвали Махом. Пусть будет Мах. Он усмехается. В конце концов Мах — это неплохое имя для лежащего на диване. Для человека, который не хочет сам себя называть по имени. Нет, он не совершил ничего дурного, так же, как, впрочем, и ничего выдающегося. Просто его настоящее имя ему самому малоинтересно.

Фотографии — это тоже картинки, во всяком случае это не текст. Может быть, это даже нечто большее. Однажды он ночевал на даче у своего приятеля. К стенам комнаты были пришпилены булавками фотографии. Самые разные. Заключенный на прогулке — тень решетки на его обращенном к солнцу лице, на глазах, рот приоткрыт, это вдох, нет, конечно, это не выдох. И еще фотография бродяги в предутренней мгле, лежащего у подножия гигантского моста рядом с железнодорожными путями. И еще, и еще... Анри Картье-Брессон, Вишковский, Достал, Ман Рей. Среди этих вырезанных из журналов снимков был один живой, сделанный хозяином дачи. Фотография девушки, смеющейся над кувшином воды. Эти фотографии на стене. А ночью был сильный ветер. Распахнулось окно, и ветер сорвал со стены именно фотографию девушки. Бросил ему на подушку. Сейчас, лежа на диване, он думает, что нет, наверное, ничего странного в том, что Анна, с которой он познакомился спустя год после ночи с распахнутым окном, оказалась той самой девушкой. Но только совсем другой. Но, может, она и была другая на самом деле, и напрасно ему

хотелось увидеть в ней ее фотографию? Она была печальна совсем не потому, что они разговаривали о философии. Напротив, эти разговоры развлекали и его, и ее. И он, и она — они часто усмехались. Но это были усмешки слов над словами. Однажды он принес ей кувшин воды, она не рассмеялась. Или она не поверила, что он может быть другим человеком? Позже, уже после той истории на плотине, его приятель сказал, что когда он фотографировал Анну с кувшином, она была пьяна.

Он совсем не вспоминает об этой истории, он просто лежит на диване. Это было шесть лет назад. А сейчас — диван. Ему тридцать восемь. «Кризис», — говорят одни. «Расцвет», — говорят другие. Так легко или трудно лежать на диване? Он чувствует, что устал достигать своей цели. Он хочет, чтобы цель сама достигала его. Не все ли равно, в чем его цель?

Кто же он по профессии?

Мах.

А где он работает?

Мах.

Был ли женат и есть ли дети?

Мах.

Каковы его политические взгляды?

Мах.

Он не хочет вспоминать о себе. В конце концов он имеет на это полное право. Он всегда хотел быть другим. Может быть, потому что в жизни, которую ведут люди его круга, мало что происходит. Напряжение возникает в словах и передается через слова. Трогать руками запрещено. Слова раздражают. Он знает, в чем тут секрет. Может быть, он не хочет признаваться сам себе, но в глубине души он знает, зачем лег на диван. Когда-то это уже было.

198... До Анны. Убить старика. Бросить нож в горло. Не убийство — дуэль. Он будет защищаться, этот старик, и может убить его. Пять шагов до и пять шагов после. Будь проклята эта незащищенная белая шея без костей, эта просвечивающая синевой артерия, пульс которой отдается в ушах. Сглотнуть слюну, которой полон рот. Пальцы обхватывают рукоятку, указательный сверху, запястье напряжено. Прямой бросок — нож полетит острием вперед и не будет вращаться в полете. Надо только отвести предплечье. Брызнет сейчас его стеклянная кровь, и он обрушится, не успев схватиться за горло. Еще не поздно остановиться, не вызывать духов, приносящих несчастье. Но если только так можно остаться живым? Бросок... Острие в острие. Звон разбитого зеркала. Черноватая фанерная изнан-

ка. Он стоит над грудой осколков, с любопытством разглядывая свои блестящие останки. Ему легче?

Мах не знает, сколько он собирается пролежать на диване. Мах не знает, о чем он думает, когда пытается думать сознательно. Мах не пытается вспомнить текст, весь этот текст будет читать его, Маха, и, наверно, Маху будет неприятно. И потом текст надо искать, а картинки находят тебя сами. Он знает, зачем он лег на диван. Ответ на этот вопрос жесток. Слишком просто сказать, что Мах не верит в себя. Он выбирает поражение, чтобы выиграть. Он хочет быть другим, чтобы остаться самим собой. Кого он обманывает? Сейчас на диване он монтирует другую жизнь, ту, которую никто не знает из его друзей и знакомых, ведь они всего лишь слушатели. А он мало о чем рассказывает, он, например, не рассказывает им о том, как...

...как в 197... году он едва не выдержал. В учреждении, где он тогда работал, проходила кампания по сокращению штатов. Вызывали каждого сотрудника, и надо было рекламировать в себе то, чем ты совсем не являлся на самом деле, чем вообще не может быть нормальный живой работающий человек. Надо было восхвалять не свои профессиональные качества, а свою общественную деятельность и политическую благонадежность. Накануне вечером его охватило фобическое желание исповедаться. Но рассказать о себе правду — значило бы уничтожить себя. «Не признавайся!» — вот девиз человека, который хочет выжить. Превозмогая страх, он проник ночью в кабинет, где должна была заседать комиссия. Он зажег свет, запер дверь и разделся донага. В холодной комнате с тяжелыми шторами он снял с себя все. Зеленое сукно, желтые безличные спинки стульев, сейф и черная настольная лампа строго и внимательно рассмотрели подробности его наготы. В пустой комнате, обнаженный, он рассказал о себе все до корней. Он кричал, он бросался на зеленое сукно, и стулья сладострастно обступали его. За полночь он тихо оделся и вышел. На следующее утро во время аттестации он был в прекрасной психологической форме. «А много ли у вас общественной нагрузки?» — «Да, очень». Его выдавал только небольшой насморк. Да нет, он не сумасшедший. Он сделал это, чтобы не сойти с ума.

Снова Анна. Другая жизнь проходит под знаком другой женщины. Он усмехнулся: случайности нет даже в воспоминаниях. Диван — это другая жизнь. Другая женщина — это Анна.

До случая на плотине остался ровно месяц. Он уже знал, что фотография с кувшином не имеет к ней никакого отношения,

и тем не менее он хочет сделать ей предложение. Они гуляют в парке. Осень. 198... Они смотрят на рабочих, которые собирают палые листья в целлофановые мешки. Они не спорят сегодня об иллюзии смерти, они видели листья клена на дне зацементированного искусственного бассейна, листья клена под водой лежали спокойно, как живые. Глядя на рабочего, который наклоняется все ниже и ниже, Анна вдруг спрашивает: «Послушай, может, ты знаешь, что мне выбрать? Посвятить себя доброте, делать людям добро или уйти в работу?» Он помнит, конечно, что через месяц она оканчивает университет, но молчит. «Ведь я знаю английский,— продолжает она.— Могла бы быть специалистом по английской литературе, их очень мало, в основном — по американской». Ее глаза: она смотрит на палые листья и снова молчит. А потом говорит: «Но ведь работа, это когда нет уже любви». Что он ответит? Он, который всегда шел на запад, чтобы попасть на восток... Он тоже смотрит на эти листья. «Труд защищает человека,— он говорит это тихо.— А добро? Ты говоришь, посвящать себя людям? Но они надругаются над твоей добротой, растащат ее по кускам». Он старше ее на четырнадцать лет. Он наступает на листья, они хрустят. Он думает о том, какое беззащитное у нее имя — Анна. Это молчание между ними. Ее душа тяжела? Он такой же? Но он хочет быть другим. Он хочет жить с ней в браке. Зачем? Скорее всего она не верит, что он может быть другим, жить в мире, где нужно трудиться тяжело или уметь властвовать над другими. Возможно, это так и есть. Но ровно через месяц на ее глазах он коснется смерти, напрягая все свои силы и волю в самоубийственном порыве, он коснется предела жизни. Это касание — власть над миром реальности — для Анны. А для себя? Обесценивание этой власти.

— О, о-о! Наш милый Алексей опять возлежит на диване.

Не снимая пальто, она стоит над ним, слегка покачиваясь. Потом, запустив пальцы к самым корням своих рыжеватых волос, вскидывает всю искрящуюся копну, она знает, что он любит это ее движение, по крайней мере когда-то...

— Я не Алексей,— отвечает он, ощущая запах вина и не глядя на нее.

— А кто же ты тогда? — смеется Анна.— Я выходила замуж за Алексея.

— Мах.

— Мах? Неплохое имя для лежащего на диване,— она отворачивается к зеркалу. Она уже невеселе. Как быстро портится настроение. Она швыряет перчатки в свое отражение. И неожиданно истерически вскрикивает:

— Я ненавижу, ненавижу тебя!

Она рыдает, рушится на пол, путаясь в полах пальто. Этот страшный стук ее коленей о пол. Она не умеет падать на колени, она может сломать себе ноги. Но он неподвижен. Тяжело, как раненая лошадь, она валится на бок, дергая головой. Хрипит. Это не плач.

— Помоги... Расстегни... это пальто... душит меня... помоги же... я не хочу... мне не хватает воздуха!

Она бьется затылком о пол и кричит. Разве он может выдержать это? Он бросается к ней и пытается поймать ее пальцы, ведь она уже расцарапала себе лицо.

— Пальто, помоги же мне снять пальто. Я больше ни о чем, ни о чем тебя не прошу, ни о чем...

Он высвобождает ей руку из рукава. Она дергает сильно. Теряя равновесие, он падает сам. Ее ноги, как две анаконды в черных чулках. Красноватый пупырчатый след от резинки на белой плоти.

— Помоги же, ну помоги же снять...

Анна? Неужели это Анна, его жена? Та девушка, смеющаяся над кувшином, та девушка, с которой он говорил о Ницше, та девушка, которая стала его женой через день после случая на плотине. Эта женщина — эта жизнь. Значит, все это правда? И пустое скомканное пальто, которое валяется на полу, лишенное тела. И тело, рыдающее у него на руках? Анна, ее заплаканные глаза, она молит, она просит прощения и прижимается снова и снова влажными большими губами. Она целует его одежду, его рубашку, она шепчет: «Тебя, тебя...» Как быстро она меняется.

Нет, он по-прежнему лежит на диване, он лишь представляет. Это неправда. Картинки и контркартинки. Другая жизнь по-своему борется с этой. Используя запрещенные приемы, называет его по имени, Алексеем. Неправда хочет быть больше похожей на правду, чтобы правдой не быть. Значит, он так и остался лежать на диване? Но он не бросился к Анне только потому, что ее нет здесь. В чем же ответ? И может ли он обмануть сам себя? Ведь он не выдержал и признался, назвал себя по имени.

Кто же он по профессии?

Он признается.

А где он работает?

Он признается.

Женат, есть ли дети?

Он признается.

Политические взгляды?

Он признается.

Считает ли он, что признаться — это значит уничтожить себя?

Мах, не будь дураком, анкета — это же не душа. Да, он специалист по шоссе на дорогах, да, он работает в автодорожном институте, да, преподает, да, женат, да, не лезет к кормушке, да, Алексей Молчанов... Не признаваться в другом. Мах, Мах, Мах, Мах, никто не видит твоей наготы. Только это зеркало. Но ведь однажды ты уже разбивал его, и ничего не случилось. Когда никто не знает, не видит...

Другая жизнь существует. 196... Полутемный гараж из неструганных досок, где ветошью, промазанной в солидоле, были заткнуты щели, и ты лежал на куче пропахших бензином тряпок, зажав в руке карбюратор от старенького «Ковровца», на котором ты обошел того парня в западногерманском шлеме, тогда в мотосекцию взяли тебя вместо него.

196... Шабашка после первого курса МАДИ. Передвижной цирк, автопоезд из пятнадцати фургонов. Ростов, Суздаль... Золотое кольцо. Звери и мотоциклисты. Добрый волк, которого ты кормишь из рук. Острые желтые зубы, длинный ласковый влажный язык. Мерзкий, орущий по ночам, тигр. Атракцион «бочка». Нас называют смертниками. Облегченный аппарат без фары — сто двадцать пять кубиков. Езда по вертикальной стене. Золотистое горизонтальное кольцо, на которое машину поднимаешь в раскачку — в «бочке» ведь очень тесно. Самое главное — не смотреть перед собой, смотреть на противоположную сторону, где все та же золотистая полоса. Вверх — дико кружится голова. Выдержать до флажка. Пусть зрители орут и свистят, их нет, только рев мотора и золотистая полоса. Сразу вниз, если нет стабильности в оборотах. За месяц гастролей — восемьсот рублей. «Бабки», — говорим мы друг другу. «Сколько ты за сегодня накрутил бабок?» Мы не упоминаем о черной повязке, которой мог закрывать себе глаза на стене, бросая руль, только один из нас — молчаливый горбатый татарин, который, напиваясь по вторникам, развлекался длинными плевками в желтые глаза тигра.

Мах, Мах, ведь ты немного обманывал Анну, когда говорил о мысли, возникающей в комнате без мебели, о шоссе, которое прокладывают только для того, чтобы проложить другое шоссе, когда говорил, что, овеществляясь, идея гибнет, и потому не стоит привязываться к жизни, когда говорил, что не надо изобретать моторы, надо учить других изобретать. Ты говорил, что человечество специализируется не только вширь, но и вверх, отрицая каждый предыдущий этаж. Что это было, Мах? При-

знайся сам себе, пока никто не видит. Эта девушка, изучающая другие слова в университете. Другую жизнь через другие слова. Ты мог бы сразу назвать разрушительное слово «мотор» и безжалостное «шоссе», ведь за ними стоит реальность, которой можно доверять, был бы бензин, были бы подтянуты все гайки и болты, а то, что их много, на целую жизнь, так, может, это и хорошо, ведь с гаечным ключом в руках не думаешь о бессмыслице слов на собраниях, о лжи, на которой все держится. Ты мог бы и рассказать о жизни, которой живешь для своих знакомых, коллег по работе, но, словно бы отрицая ее, ты предпочитал говорить с Анной о философии.

Зачем он злится? В конце концов его никто не обязывает делать предложение именно сегодня, именно на этой тропинке, когда она идет впереди. Он посмотрел на ее спину. Пальто. Человек одевает одежду еще и потому, что холодно.

— Капли на этих кустах, как ягоды, смотри,— она сказала совсем о другом.

— Да,— сказал он.

А потом раздраженно сказал:

— Нет.

— Что нет?

— Нет,— повторил он.

Она печально рассмеялась, встряхнула ладонями волосы. Этот красноватый всплеск ее волос на фоне черных мокрых стволов, словно последний флаг. Он никогда не доверял метафорам, они искажают смысл. Тогда откуда в нем эти слова? Анна.

— Значит, нет? — переспросила она.— Может быть, ты добавишь какой-нибудь убийственный афоризм, развенчивающий мои слова?

— Разве я похож на убийцу?

— Да нет, ни на убийцу, ни на самоубийцу ты не похож,— она помедлила.— Для этого надо быть сильным.

— Это провокация? — спросил он.

Она повернулась. Шум водосброса.

«Падает вода»,— подумал он, глядя в ее глаза.

— Это водосброс,— сказала Анна.

Она повернулась снова и пошла по тропинке быстрее, задевая ладонью за ветки кустарников, стряхивая капли.

— Убийцы должны убивать самоубийц,— сказал он, чтобы что-то сказать, и с отвращением почувствовал неуместность своих слов. Почему бы ему не сказать, что капли на этих кустах действительно похожи на ягоды, прозрачные ягоды, ты собираешь полную горсть и пьешь, сказать так и избавить Анну от

печали. Может быть, она засмеялась бы. Тяжелый человек он, а не она? Возможно, и не надо совершать никаких незаурядных поступков, и не надо никому и ничего доказывать, а просто научиться говорить другие слова. Другая жизнь сама по себе.

- Плотина. Кончилась тропинка, и они вышли к плотине. Он хорошо знал это место. Случайно или не случайно он привез ее именно сюда? Когда-то они купались здесь всей мотошколой. Он хочет рассказать ей об этом? Но ведь он никогда никому ничего не рассказывает. Не это ли заставляет его разветвляться? Вверх, к философии, от тех, кто только рассказывает. Вниз, к поступкам, от тех, кто только рассказывает. Вверх... Анна считает его занудой. Поверит ли она, если он расскажет ей о мотошколе? «...для этого надо быть сильным».

Снова всплеск этих рыжих волос.

— Здесь действительно очень красиво, — сказала Анна. — Мне нравится эта пыльная, засоренная последними листьями, эта мутная черная подскальзывающая вода. Мне нравится бессмысленность, с которой она так тяжело обрушивается... свинцовые волосы водопада... Здесь можно не думать, отдать все отвлеченности этой падающей воде, отдать все слова, остаться животным, для которого есть только противостояние того, непонятно чего, спрятанного в глазной впадине, за роговицей, и другого, тоже непонятно чего, но другого — жестокого, враждебного, хитрого и коварного, из которого надо вырывать себе пищу и тепло для ночевки. Я бы, наверное, бросилась в этот ад, если бы бог воскресил меня просто самкой, неважно — волка ли, зайца.

Она замолчала. Он не отвечал, глядя в эти низвергающиеся струи. Узкая зацементированная дорожка с выщербиной посередине, когда-то, проскакивая ее с разгона, считалось шиком бросить руль или встать на заднее колесо.

— Ты опять собираешься сказать что-нибудь умное? — усмехнулась Анна.

Плотина. 198... Что было потом? Он не ответил, он прислушивался к шуму мотора, он обернулся. Сверху, от фермы, медленно спускался мотоциклист, скользя по наезженной грязи, упираясь ногами, когда машину разворачивало. Он присмотрелся и узнал — Климов. Это судьба? Откуда ты взялся, черт возьми? Климов на мотоцикле. Он не видел этого Климова лет пять. Он даже забыл о его существовании. В мотошколе Климов всегда играл роль простака. Когда не было колец или уплотнительных прокладок, Климов доставал кольца или уплотнительные прокладки. Когда хотелось выпить, Климов приносил вина. Климов, добряк, вечно хихикающий Климов. Его так и звали — Хихи. Климов, который шмыгал носом и говорил:

«Конечно-конечно». Климов, выставляющий вперед нижнюю челюсть с расческой мелких зубов. «Хихи, у тебя нет лишней резины на сто восемнадцать дюймов?» — «Конечно-конечно». Тогда на плотине Климов понял все с полуслова и отошел, хихикая, в сторону, как будто они расстались только вчера. Алексей сказал ему: «Климов, она не верит, что я мотоциклист». А Анне? Ей он сказал: «Смотри, что я сейчас сделаю». Он отвернул винт и достал из бардачка гаечный ключ на девятнадцать. Он хочет честной игры? Ведь Анна все равно не понимает, закручивает он или откручивает. Она в недоумении молчит — какой-то мужик уступил ему свой мотоцикл и отошел, хихикая, в сторону. «Что ты собираешься делать?» — спросила Анна, но Алексей не ответил. Эта узкая зацементированная дорожка без перил между подкальзывающей кругами чернотой и горбатым водяным обрывом, где в безумии рушится свинцовая поверхность, разбиваясь вдребезги о железобетонные плиты, где в пене видны зажатые бревна. Он хочет сделать это без блефа, ведь просто промчать по этой дорожке было бы слишком легко — это для Анны... А для себя? Он должен коснуться смерти, чтобы остаться другим в другом. Признаться в одном и создать другое.

— Признайся, Мах, ты лег на диван, чтобы умереть? — сказала, усмехаясь, Анна. Как всегда, она вошла незаметно. В последние дни она всегда входила незаметно.

— Откуда ты знаешь, что я — Мах? — спросил он.

Она ответила немного печально, нараспев:

— Я же все о тебе знаю. Может быть, это потому, что ты меня выдумал.

— Но я не выдумал тебя, ты существуешь на самом деле.

— Да, но мы живем вместе. Я и раньше в чем-то была похожа на тебя. Мы все. А теперь... Мы никому и ни в чем не хотим признаваться, мы хотим быть сильнее. Но порой и я жертвую самым главным, чтобы достичь... этого самого главного. Какая нелепость, — она говорила, не глядя на него. — Мы развращены неверием и отдаемся дьяволу, втайне надеясь так обрести своего бога. Поистине ужасное время. Ты, который тогда на плотине... помнишь?

— Да, помню, — сказал он, подкладывая под голову руки и сквозь волосы ощущая, что его ладони теплее затылка. — Это было. Тогда я признался в первый раз, — он помедлил, — в другой жизни.

— А теперь ты... ты, и вдруг на диване. А я? Я надеялась, что ты сделаешь мне предложение, как в прошлом веке порядочные мужчины делали предложение порядочным девушкам.

И вот — я просто живу с тобой, и ничего не могу с собою поделать. Это какая-то насмешка над всеми нами, над моралью, над нашим отношением и к жизни и к смерти.

— Но, может быть, это в то же время нечто большее, чем только насмешка,— сказал он, поднимаясь. Ему ужасно хотелось смеяться. Он еле-еле сдерживал себя.

— Ты решил начать другую жизнь? — спросила с иронией Анна.

— Другая жизнь сама знает, когда ей начаться.

Он больше не мог сдерживаться. Он не хотел сдерживаться. Она на него не обидится. Конечно, Анна поймет, все поймет, ведь она призналась, что похожа на него. Текст? Текст знает она. Ей — текст, а ему — иллюстрации. Но дело не в этом. Он вцепился ногтями в подушку, бессознательно все еще пытаюсь сдержаться, но уже задрал голову, ощущая свою шею мощным косматым стволом африканского дерева где-то на белопесочном побережье, где море, словно река рек, течет и играет, искрясь, в самом себе, и захохотал оглушительно, ярко, словно извергая широкие мясистые листья, полные сочной зеленой клетчатки.

СОЛО 2

Литературно-художественное приложение к ежемесячнику
«Афиша СТМ»

Проза и поэзия



boah chamber
international

Редактор А Михайлов
Художественный редактор Н Рудакова
Технический редактор М Столярова
Корректор Л Гордеева
ИБ 27

Сдано в набор 2.09 90 Подписано в печать 12 01 91 Формат 84×108/32
Бумага офсетная Печать офсет Усл п л 5,04 Усл кр -отг 5,25
Тираж 50 000 Заказ 1535 Цена 3 руб

Совместное предприятие «Бук Чембэр Интернэшнл»
119034, Москва, ул. Остоженка, 4
Отпечатано с диапозитивов в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий»
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16

G O A O
SOLO



books chamber
international